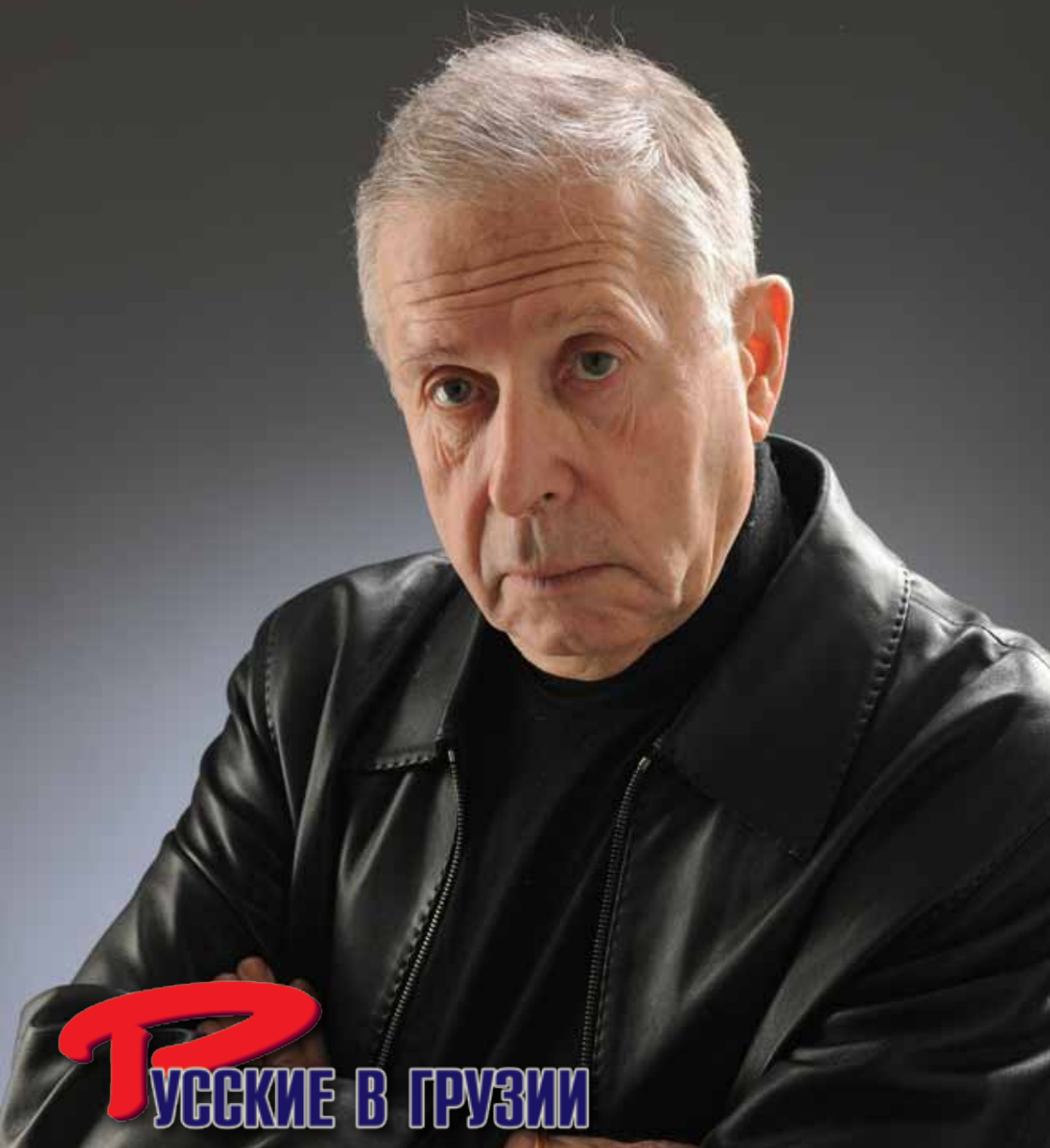




«ГРУЗИЯ БЫЛА
НАШИМ ПРАЗДНИКОМ»

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ



К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

БИБЛИОТЕКА МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
СОЮЗА «**РУССКИЙ КЛУБ**»

«ГРУЗИЯ БЫЛА
НАШИМ ПРАЗДНИКОМ»
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

Тбилиси
2021

Русско-грузинские культурные взаимоотношения поистине являются историческим феноменом, не имеющим аналогов.

Россию и Грузию связывают 11 веков взаимного общения. Начало этих отношений восходит к X веку — в древнерусских летописях упоминаются Грузия и Тбилиси. В 1491 году были установлены дипломатические отношения. При Петре Первом на берегах речки Пресни близ Москвы заложена Грузинская слобода (в просторечье — «Грузины», ныне — Большая Грузинская). А с конца XVIII века, после заключения в 1783 году Георгиевского трактата, отношения стали особо тесными и интенсивными.

На покровительство Грузия отвечала помощью и поддержкой — в том числе, культурной, духовной. Приют, пристанище здесь обретали многие великие русские — опальные и гонимые в России, в Грузии они всегда находили свободу, работу и почитание.

Серия «Русские в Грузии» — первый опыт систематизированного освещения богатейшей истории пребывания в Грузии выдающихся российских деятелей искусства, религии, науки, литературы, спорта, достойных благодарной памяти потомков.

Серия стала настоящей энциклопедией русско-грузинских взаимоотношений.

Проект направлен на популяризацию российского культурного наследия, возрождение интереса к России в Грузии и к Грузии в России, активизацию общественного диалога и культурного общения двух православных народов-соседей.

Издатель -

Международный культурно-просветительский Союз

«Русский клуб»

Руководитель проекта -

НИКОЛАЙ СВЕНТИЦКИЙ

заслуженный деятель искусств РФ,

заслуженный артист РФ

При финансовой поддержке: **РОССОТРУДНИЧЕСТВА**

© **Русский клуб. 2021**

ISBN 978-9941-8-3003-7

«ДОКАЗАНО ЖИЗНЬЮ»



Юрий Ряшенцев, как никто, умеет попадать «в десятку». Как это ему удается? Дар божий, талант, труд, профессионализм, интуиция, магия...

Нет, не объяснить, **как** работает Ряшенцев. А вот **почему** он работает именно так, пожалуй, можно попытаться объяснить.

Он увлеченно и всерьез занимался спортом – играл в волейбол и теннис. А спортивный характер – это, поверьте, совершенно особое дело: трудолюбие и работоспособность, нацеленность на высокий результат, сосредоточенность на своих действиях и, конечно, некоторая доля злости (разумеется, спортивной) и азарта, которые всегда помогают на пути к победе.

Хороший спортсмен – великодушен и снисходителен. Он никогда не ударит первым. Иной раз и не ответит на удар. Но спуску никогда не даст.

Он честен, потому что в этом деле иначе нельзя. В спорте счет не может быть не гамбургским. Мастер знает, что ему не надо умасливать начальство и задаривать бюрократа для того, чтобы быть признанным. Всегда ясно – кто есть кто. Просто надо быть профессионалом.

Ряшенцев никогда не бегал за славой. Он честолюбив, но не тщеславен. Так что, если славе необходимо, пусть сама бежит за ним.

Он не учит и не дает советов. Кому, как не ему, знать, что поэзия – это не школа для трудновоспитуемых. Хорошей поэзии не научишь, плохого поэта не перевоспитаешь. Ряшенцев и не воспитывает. «Начни с себя» – это не только спортивный принцип, но и естественный образ жизни умного и интеллигентного человека. Ряшенцев так и живет. У него нет долгов, и счета он предъявляет только себе. Но это уже его личное дело.

Он продолжает писать. Читай, удивляйся. Учись, если хочешь...

Мы встретились с Юрием Евгеньевичем во время Международного русско-грузинского поэтического фестиваля.

Беседовали на батумском пляже.

Ряшенцев уплывал далеко в море, возвращался, мы продолжали разговор.

А потом он снова уплывал...

– Я никогда раньше не был в Батуми, хотя объездил всю Грузию. Я знал Батуми по фильму Ираклия Квирикадзе «Пловец». Тот Батуми походил на грузинские города, которые я знал. Но то, что я увидел сейчас, – сплошное очарование. Я могу сравнить с лучшими южными городами – итальянскими или испанскими.

– Неужели?

– Ну, посмотрите вокруг. Вы проходите мимо этой рощи и не видите ее. А для меня она – абсолютная экзотика. А этот воздух, этот аромат!..

– *Вы объездили Грузию по любви или по делам?*

– По любви, конечно. Дела у меня были в Тбилиси – и переводческие, и театральные. Сандро Товстоногов ставил нашу с Марком Розовским пьесу «Три мушкетера» в Грибоедовском театре. Это был веселый удачный спектакль, который Сандро предварительно поставил в Москве с Владимиром Качаном в роли д'Артаньяна задолго до Миши Боярского. О, это был прекрасный д'Артаньян! Совершенно нестандартный – современный молодой человек.

– *А ведь д'Артаньян был большим карьеристом.*

– Конечно, он карьерист. Я вообще отношусь к мушкетерам без всякого надуманного восхищения. Алкоголик Атос, альфонс Портос, Арамис с его сомнительным богонравием. Но у них была одна святыня – дружба. Общество этим похвастаться не могло.

– *А преданность королю?*

– В нашей интерпретации все решала не преданность королю, а дружба. Когда д'Артаньян зовет друзей в опасное путешествие, они спрашивают: «Это нужно королеве или вам?» – «Это нужно мне.» – «Так в чем же дело!» Дружба решает вопрос.

– *Подобная дружба – реальная вещь?*

– Такая святыня есть. И жизнь мне это доказала. У меня друзья с пятого класса школы.

– *Действительно святые отношения?*

– Абсолютно. Другое дело, что мы должны трезво соотносить чувства с окружающей жизнью. Но в наших отношениях не было ни одного случая не то что предательства, но даже сомнительного поступка.

– *Сколько же лет вы дружите?*

– С 1944 года. Это, конечно, добавляет волнения, страхов, потому что и любовь, и дружба – это вечный страх потери.

– *Афоризм...*

– Да, у меня так где-то в стихах сказано.

– *У вас и о славе замечательно сказано.*

– Что именно?

– «*Мимоходом лишь подумаем о славе, а ни пальцем для нее не шевельнем*».

– Так и есть.

– *Это, простите, не кокетство?*

– Да какое кокетство? Тоже жизнью доказано. Было бы кокетством, если бы я в стихах на этом и остановился. Но дальше в тексте говорится о том, что у нас есть другие ценности, которые выше славы.

– *Слава не может быть критерием для творческого человека?*

– Может. Я знал таких людей. Например, шестидесятники – это слава, прежде всего слава, известность. Они были наши товарищи, мы их любили, понимали, не осуждали. А они любили нас, знали, что мы умеем многое из того, что, может быть, не каждый из них умел. Я вообще горжусь своим поколением.

– *Особенно, наверное, выходцами из Педагогического?*

– Ну, это особый разговор. Петр Фоменко, Юлий Ким, Юрий Визбор, Юрий Коваль... Это гордость страны.

– *Вы и Грузия – тоже особый разговор...*

– Я влюбился в Грузию сразу. Знал ее по стихам, рассказам. Но то, что увидел, превосходило все. Здесь было то тепло, которого больше нигде в империи нельзя было отыскать. Я говорю не о тепле физическом – о человеческом. Дружба, которая возникала здесь, сохранялась на долгие годы...

Первый раз я приехал в Грузию в семью Тициана Табидзе. Нита Табидзе стала большим моим другом. Я дружил с семьей Гудиашвили, с Чукой... Вспоминаю, как мы с Верико Анджапаридзе стояли на Мтацминде, наверху. Ей было уже очень много лет. Она была в кожаном жатом костюме – парижский такой костюм. Нас познакомили, отошли в сторону, и мы остались вдвоем. Она мне сказала: «У вас неглупые глаза. Что вы такой веселый? Что человеку с неглупыми глазами может нравиться?» Я говорю: «Калбатону Верико, это мой любимый город, любимое место в городе, любимые люди вокруг». Она отвечает: «Мне жаль вас. Вы не знали этого города, когда по улицам ходили Тициан и Паоло, ездили фэтоны...»

А потом эта Грузия вдруг кончилась, и мне показалось, что кончилась навсегда. К счастью, это было наивное представление, основанное, с одной стороны, на моем опыте общения с государством – суровым, несентиментальным, которое плевать хотело на человеческие отношения, а с другой стороны, на какой-то недостаточной уверенности в том, что такие друзья остаются навсегда. Сейчас я это почувствовал снова, хотя никого уже почти не осталось в живых. Но Грузия примерно та же. Она другая по другим показателям, но по-человечески – та же.

– *У русских поэтов отношение к Грузии всегда было особенным. Мы избалованы хорошим отношением к себе, и не задумываемся, а почему оно было таким?*

– «Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пашей».

– *Но ведь за хребтом Кавказа не только Грузия.*

– Грузия – христианское государство, и из всех стран Кавказа – наиболее близкое. Вы знаете, у меня вообще свое представление о том, чем Россия замечательна. Я не думаю, что мы – страна великих полководцев, дипломатов, государственных деятелей. Я думаю, Россия – страна художников и философов. Русские художники всегда были опровержением всего официального. Но это ведь и грузинское качество. Грузины – это, конечно, народ художников в широком смысле слова – поэтов, певцов, артистов. Хотя это народ, который проявлял и смелость, и дерзость, и сплоченность во всяких войнах, но главное у грузин, я считаю, – талант. Достаточно послушать, как поют в любой грузинской деревне. Я помню, мы как-то ехали в направлении к Вардзиа, с нами была преподавательница из ВГИКа, которую мы впервые привезли в Грузию. И в каждой деревне нас встречало такое пение! Она потом спросила: «Вы возите этот хор с собой?» Она не могла представить, что так поют в любой деревне.

– *У вас, по-моему, были и родственные отношения с Грузией?*

– Моя дочь, Маша, была замужем за грузином. Они расстались, потому

что оба не созданы для брака, но и сейчас дружны. (Мария носит фамилию Шенгелая – *Н.Ш.-З.*). Потом Маша вышла замуж за сына Миши Козакова, Кирилла. Также неудачный брак, и тоже остались друзьями.

– *То есть вы и Михаил Козаков – два наших именитых тестя...*

– Ну да, я связан с Грузией и таким образом.

– *Вы – автор и лирических стихов, и зонгов. Когда Людмила Гурченко, восхищенная вашей работой, сказала: «Юра, ты гений!», вы ответили: «Я профессионал».*

– Да, такое было.

– *А как в поэте уживаются гений и профессионал?*

– Видите ли, вообще, если ты не профессионал, то как может выразиться твоя талантливость? В жестях, что ли? Ваш вопрос о том, что такое поэзия. Профессия или состояние? Я думаю, что поэзия – это профессия, которая позволяет тебе выразить твоё состояние.

– *Этой профессии можно обучиться?*

– Нет. Если не дано, то обучиться нельзя. Если дано, можно развить. А если не развить, останешься просто талантливым человеком.

– *Получается, есть поэты, которым дано писать на заданную тему, и те, которые этого таланта лишены?*

– Писать на заданную тему – это не профессия поэта, это профессия паролье. Я – паролье. Зарабатываю тем, что пишу на заданную тему. Но это совсем не моя главная страсть. Главная и одинокая страсть – это, конечно, лирические стихи. Когда я их пишу, я не знаю, что будет в конце. Если знаешь, чем все кончится, зачем писать? Иначе это изложение, а не сочинение. Поэтому так часто лирические стихи не понятны слушателям. Как только поэту стало понятно, он поставил точку. А читающий тебя еще не дошел до этого...

– *Поэт и паролье легко уживаются в вас?*

– Это вообще не у всех уживается. Ту работу, которую я делаю как автор стихов для кино или театра, пробовали делать некоторые серьезные лирические поэты. А потом звонили мне и говорили: «Слушай, ничего не получается. Помогите». То есть они чужды именно этому качеству. Поэту вообще необходим артистизм. Но если у лирического поэта он опосредованный, то у паролье – прямой. И если ты не можешь превратиться в кардинала, д'Артаньяна, миледи, то бросай эту профессию.

– *Есть высшая лига мастеров этого дела – Ряшенцев, Ким, Окуджава...*

– И Юра Энтин.

– *Высоцкий тоже много писал для кино, иногда его песни «не садились» в фильм. Может быть, он не владел ремеслом паролье?*

– Нет, ну что вы! Высоцкий владел всем. Он как лирический поэт работал в разных формах и всегда им соответствовал. Когда вышла его первая книжка «Нерв», мне сперва показалось, что без музыки тексты вроде бы не звучат. Но потом я внимательно читал, отслеживал – у него, конечно, замечательные вещи есть в текстах. Вообще, Высоцкий – особое явление. Он многоборец. Таких было всего несколько человек. Галич, например, по специальным поэтическим качествам едва ли не чемпион среди этих людей. У него была изысканность стихосложения. А вот Окуджава как сугубо лириче-

ский поэт существует и без музыки. Читаешь его и сплошь да рядом думаешь – ах, как здорово сделано! «Господи мой боже, зеленоглазый мой...»

– *Какое у вас счастливое качество – умение восторгаться коллегами...*

– У меня есть друг – композитор Эдуард Артемьев, мы с ним сделали оперу «Преступление и наказание». Он всегда удивляет меня тем, что совершенно лишен чувства зависти. Стоит только упомянуть при нем кого бы то ни было – Минкова, Дунаевского, Лебедева, как он тут же начинает восторгаться: «Ах, какой талантливый человек!» Ему некому завидовать. Он умеет, что он умеет. А если кто-то умеет то, чего он не умеет, это его не слишком трогает. И правильно.

– *Мастеру чужда зависть?*

– Нет, очень многие мастера завистливы.

– *А кому же она не присуща?*

– Человеку, который уверен в себе.

– *Как вы?*

– Я профессионально уверен в себе. Хотя мне уверенности вообще хватает, у меня была хорошая уличная школа.

– *Но ведь это жестокая школа?*

– Жестокая. Я вырос в Москве на Усачевке. В домах фабрики «Красная роза» и завода «Каучук» интеллигенции не было совсем. Люди были в основном из деревни, горожане в первом поколении. Во дворе бегали поросята и петухи кричали.

– *На каком русском языке разговаривали?*

– На русском языке, который хорошо копировал Зощенко. Я вырос на стыке двух культур. Одна культура, настоящая, когда сестры-филологини читали дома Мандельштама и Гумилева, а другая – субкультура двора, «Лева из Могилева, имел четыре дома», «Гоп со смыком – это буду я»... Когда я выходил во двор, должен был держать оборону. Если бы во дворе я процитировал Ахматову, меня бы не поняли, надо было разговаривать на языке двора.

– *Вы были сыном репрессированного...*

– Я не знал отца. Совсем. Отчим тоже был репрессирован, получил пять лет.

– *Это влияло на отношение к вам сверстников?*

– Никак не влияло. Но влияло на отношение ко мне начальства. Меня не взяли в Педагогический институт, я пробивался через Министерство культуры и свои спортивные показатели – прилично играл в волейбол.

– *«А помнишь, друг, команду с нашего двора, послевоенный над веревкой волейбол»...*

– Да, это Юра Визбор написал. Я намучился с ним как с волейболистом. Он трусил на площадке. Визбор – человек, которого сделали стихи. Помнишь, у Тициана: «Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня...» Это Юра. Он себя сделал. Стихи воспитали из него такого хемингуэевского героя. Он такой и был в конце. А в начале – розовый, легко краснеющий блондин...

– *А ваши стихи вас сделали?*

– Мне трудно сказать. Если человек живет погруженным в эту стихию, то она волей-неволей его воспитывает. Многих вещей я бы не сделал, если

бы о них не написал. Во-первых, кое-что сбывается. Во-вторых, ты что-то утверждаешь в стихах, даже если ты не декларативен, например, поклялся кому-то в любви и дружбе.

– *Noblesse oblige? Стихи обязывают?*

– Ну конечно. А как иначе? Я был бы идеальным, если бы всегда соответствовал своим стихам. Иногда расходился, конечно. Предавал слово в какой-то мере... Ведь чего-то ты стыдишься? Проявил слабость. Явную. Ты это помнишь. И это дает оттенок стихотворению.

– *У Пушкина есть фраза: «Зависть – сестра соревнования, следовательно, хорошего роду».*

– Это правда. Понимаете, смотря какая зависть. Как ни странно, я больше всего завидовал спортсменам. Ну, я не знаю, например, играю в команде, а кто-то прыгает на две головы выше меня. Черт побери, я не хотел его подсидеть. Но я не умел, как он, не мог физически. Это не вело к пожеланиям – чтоб тебе провалиться и чтоб тебе по колена ноги отняли. Во мне была хорошая белая зависть. Вообще, вы знаете, Олег Чухонцев, Митя Сухарев, я – мы пережили славу наших товарищей-шестидесятников до чрезвычайности спокойно и доброжелательно.

– *С иронией?*

– Да, конечно, иногда с иронией. Потому что мы понимали – лучше бы этого ты, дорогой, не писал, потому что плохо срифмовано и так далее. У нас не было претензий по мастерству к Белле, но к Жене Евтушенко, а он очень много писал, конечно, были. И шутили, и иронизировали, и злое словцо выходило... Но, знаете, если его трогали, мы все кидались на защиту.

– *У Довлатова есть забавная запись о том, как Вознесенский, поджидая иностранных корреспондентов, сидел в чулане своей дачи, в дубленке на голое тело, чтобы, как они появятся, выскочить нагишом и начать обтираться снегом – русский медведь купается в снегу. Могло быть такое?*

– (Смеется). Могло быть. Но это слабость, присущая любому. У меня таких случаев не было, но, черт его знает, может, я сделал бы так же. Возможность показаться не таким, какой ты в быту, – довольно нормальное желание для человека. Для публичного – особенно.

– *Вам тоже это присуще?*

– Да, думаю, присуще в каких-то мелочах. Хотя я настолько ленивый человек, что мне очень трудно пойти на какой-то компромисс со своим состоянием лени. Но я же заставляю себя бриться, когда не хочу. И бреюсь.

– *Вы умеете радоваться жизни – девушки, волейбол, стихи...*

– Стихи в последнюю очередь.

– *А что сегодня вас радует?*

– Да примерно то же самое.

– *Тогда я задам, наверное, изрядно поднадоевший вам вопрос. Кое-какие секреты вашей отличной формы я уже поняла: заниматься любимым делом, не завидовать. Есть еще?*

– Галка (Галина Полиди, супруга поэта) очень много мне дает в жизни. Не только как молодая спутница жизни. Она ведь мой соавтор. Мюзикл «Метро» мы делали вместе. Картину для Шифрина – вместе. Оперу «Царица» Тухманова, которая идет с триумфом, – тоже вместе. Она человек не-

обычных решений и предложений. Иногда она что-то предлагает, а я говорю ей — да перестань, да замолчи! Но проходит минута-другая, и понимаешь — а ведь это решение! Она очень способный человек. Я научил ее играть в теннис, водить машину, и она сейчас это делает легко и свободно.

— *В браке важно, чтобы супруг учил супругу чему-то?*

— Хорошо бы!

— *А если наоборот?*

— Когда жена тебя учит профессиональным вещам, это как-то... Мне бы было некомфортно. Как правило, муж старше, и если он за то время, что прожил, не умеет ничего сделать лучше, чем жена, то это плохой показатель.

— *А если он все делает лучше, за что же уважает свою жену?*

— Это вопрос того, что ты ценишь в женщине. Я больше всего ценю женственность. Просто женственность. Если она есть, то красота уже не важна. Женственная женщина не может быть некрасива, какой бы она ни была. Понимаешь, что черты ее лица не соответствуют канонам, но забываешь об этом через минуту. Я учился в пединституте, где девушек было пять тысяч, а ребят — триста-четырееста. Мы имели возможность понять, что такое женская красота. И до сих пор многие мои сверстницы мне кажутся очень женственными.

— *Вы много и успешно переводили грузинскую поэзию. В чем, на ваш взгляд, мастерство переводчика? И каким должен быть перевод?*

— Нас всегда пытались поссорить с Беллой. Говорили, что ее переводы — это стихи только Ахмадулиной, и никаких грузинских поэтов в ее переводах нет. А вот Ряшенцев переводит хорошо и точно. На самом деле Белле надо сказать спасибо за то, что она создала целый ряд прекрасных стихов — пусть по мотивам, но все-таки это не только Ахмадулина. А мне было бы неинтересно переводить неточно. Я пробую переводить как можно ближе — профессионально я так воспитан.

— *Как вы переводите — по подстрочнику или вам важно и звучание, и ритм?*

— Я обязательно должен послушать, как стихотворение звучит. И транскрипция для меня обязательна. Что такое перевести стихи? Это значит — вызывать у русского читателя по возможности то впечатление, которое у грузинского читателя вызывает грузинский вариант. Здесь есть тысячи подводных камней. Например, что это такое — «та-та-та та-та, та-та-та та-та»? (отстукивает ритм). Это обычный популярный грузинский размер. Как это сделать по-русски? Это же былинный ритм — «Ой ты, гой-еси, трактор-батюшка». А если в грузинском подлиннике это декадентские стихи? Тогда бери на русском пятистопный ямб. Такие вещи надо помнить и знать.

— *С какой стороны к вам не подойди, все равно в итоге упираемся в вопросы профессионализма.*

— Конечно. Потому что я ничего другого не умею делать, и хочется делать это хорошо. Хотя у меня довольно мрачное представление о том, что я со своими стихами в этом мире значу. Спокойное, но мрачное. Потому что поэзия мало кому нужна. Но от этого она не хуже.

— *Поэзия ведь вообще не массовое явление?*

– Да.

– *А слава бардов – это исключение?*

– Меня бог уберег от того, чтобы стать бардом. У меня очень хороший слух, и мечта мамы была, чтобы я играл на гитаре. У мамы был дивный голос, и она понимала, что я музыкальный человек. У меня получилось бы, убежден. Но я рад, что не стал этим заниматься. Может быть, потому что их аудитория меня устраивает гораздо меньше, чем моя, которая что-то понимает в стихах. Хотя есть исключения. У Юлия Кима – стихи поэта. А Булат обладал секретом, которого я не знал...

– *Значит, помимо профессионализма, нужен еще и секрет?*

– А профессионализм и есть секрет. Если профессионал не обладает секретом, то он ремесленник. И когда я говорю о профессионале, я говорю о мастере.

– *В одном из интервью вы сказали, что в свое время не уехали из СССР потому, что у вас кошачья привязанность к месту.*

– Я не мог уехать не то что за границу... Вот у нас стоит вопрос о сломе нашего дома. Мне говорят – ну что ты, тебя далеко не переселят, переедешь на Арбат. Но я не хочу на Арбат. Я житель Усачевки. Для меня переехать из моего дома на три дома в сторону – трагедия. Когда в 1934 году меня, трехлетнего, привезли в Москву, я поразил мою няньку. Она меня повела гулять. Я спрашиваю: «Какая это улица?» – «Большая Пироговская». Я тяжело вздохнул и сказал: «А у нас там Большая Пушкарская». Она с ужасом рассказала это маме. Понимаете, это уже был лирический герой. Я никогда не писал о будущем. Оно мне просто неинтересно. Более того, я всю жизнь мучительно пытаюсь писать о настоящем. Иногда у меня получается. Но через огромные труды. Должно пройти пять или десять лет, чтобы по воспоминаниям возникли какие-то картинки, которые я опишу.

– *Впечатления этого лета тоже должны отстояться?*

– Конечно.

– *Давайте договоримся о встрече через пять лет на этом же месте? Если получится раньше – тем лучше.*

– Давайте попробуем. Хотя трудно сказать. Галка, давай напишем через пять лет стихи об этом лете.

Беседовала Нина Шадури-Зардалишвили

«Русский клуб»

2011

«КАК ЭТО ПРИНЯТО В ГРУЗИИ»

Из интервью разных лет

– *Недавно вы посетили столицу Грузии в рамках Международного фестиваля «Сны о Грузии». Расскажите об этой поездке.*

– Я давно не приезжал в Грузию, хотя раньше, в прошлом веке, бывал там очень часто, начиная с 1960-х и кончая 1980-ми годами, так как

занимался переводами стихов грузинских поэтов. Тбилиси – мой самый любимый из всех городов бывшего СССР, поэтому после долгой разлуки я с нетерпением ждал встречи с нынешней Грузией. Разумеется, как и многие в Москве, я был наслышан о якобы негативном отношении местного населения к русским. Но ничего подобного в Тбилиси я не увидел, более того, обнаружил прежнее радушие не только со стороны своих старых грузинских друзей, но и со стороны простых людей, с которыми посчастливилось общаться. К тому же мне довелось посетить Батуми, где я раньше не бывал, и мне там тоже очень понравилось.

– *С кем из старых друзей довелось встретиться?*

– Мы повидались с Джансугом Чарквиани, которого я раньше переводил и которого отношу к золотому поколению грузинских литераторов. Встреча наша была очень радостной и приятной, к тому же неожиданной. Это произошло 9 мая, на мероприятии, посвященном празднику Победы. Первым Джансуга обнаружил я: в зрительном зале впереди меня сидел человек, в котором я узнал старого приятеля. Сам же он меня не видел. Но когда кто-то из выступавших упомянул случайно о том, что я присутствую в зале, Джансуг резко подскочил с криком: «Где Юра?! Где?!», после чего последовали наши дружеские объятия и аплодисменты в зале. Но на этом сюрпризы не закончились. Так получилось, что нынешний приезд в Тбилиси совпал с моим днем рождения. Мы с нашими гостеприимными хозяевами – представителями культурно-просветительского союза «Русский клуб» отправились в ресторан, в Мцхета. И вот хозяин ресторана, случайно узнав о моем дне рождения, извинился, куда-то ненадолго отошел, а через полчаса в нашем ресторане «неожиданно» появился ансамбль дудукистов. И очень долго нас своей музыкой улаждал. Это было приятно и трогательно... Я был переполнен положительными эмоциями. Будучи в Тбилиси, я подружился с президентом «Русского клуба» Николаем Свентицким – инициатором прекрасного поэтического фестиваля, благодаря которому мне и довелось в этот раз приехать в Грузию.

– *Какое впечатление на вас произвел сегодняшний Тбилиси?*

– Когда я посещал Грузию, еще в прошлом веке, она была в упадке, можно сказать, даже умирала. Впрочем, создавалось впечатление, что она даже умирала красиво. Изменения, происшедшие за это время, – очень разительные. Тбилиси стал походить на столицу сильного, самостоятельного государства: большое количество дорогих машин, хорошие дороги, полиция, которая появляется по первому же вызову в течение пяти минут. Но скажу вам по секрету: мне мил тот, старый Тбилиси, который был тише, скромнее, который напоминает мне о моей молодости. В Грузии я почувствовал себя абсолютно своим сразу же. Тбилиси – это невероятно теплый город. Теплый не только из-за своего климата, но и благодаря людям, которые там живут. Подобная теплота, душевная щедрость, как я понял потом, вообще свойственны Грузии! Не могу забыть, как однажды, проходя по проспекту Руставели, увидел небольшую группу молодых людей. Я спросил у них, как пройти куда-то, и тут один парень вызвался меня проводить, а потом в течение, наверное, 10 дней приходил ко мне в гостиницу, спрашивал, нуждаюсь ли в чем-нибудь и не нужна ли какая-нибудь помощь.

– *Творчество каких грузинских поэтов, которых вы переводили, вам наиболее близко?*

– Судьба переводчика такова, что переводимый поэт ему намного ближе, чем любой другой, возможно, тоже весьма интересный, но с которым он, к сожалению, по каким-то обстоятельствам меньше знаком. Кого я могу назвать из своих любимых грузинских поэтов? В первую очередь, Тициана Табидзе. Я очень люблю этого поэта, как и Мирзу Геловани, у которого перевел целую книгу стихов. Не могу не упомянуть и Георгия Леонидзе, с которым меня связывает одна история. Как-то раз мне довелось привезти ему в Тбилиси письмо от Бориса Полевого, который на тот момент являлся главным редактором журнала «Юность». После того, как я передал ему письмо, он неожиданно пригласил меня на вечернее застолье в ресторан. Я же, будучи мальчишкой, постеснялся идти и... отказался от приглашения. А сейчас понимаю, что очень многое потерял из-за своего отказа, о чем до сих пор сожалею. Среди наиболее близких мне людей, с которыми я был связан творческими узами, хотел бы выделить Ираклия Абашидзе. Это замечательный человек и большой поэт, который не знал себе равных по обаянию и интеллекту.

– *Как вы работаете над переводами? По какому принципу выбираете авторов?*

– Скажу честно: мы занимались переводами не от хорошей жизни. Нужда диктовала. Наши собственные стихи не печатали, поэтому мы брались за переводы. Надо же было на что-то жить. Перевод – это вынужденное занятие. Другое дело, что потом эти стихи, пропущенные сквозь творческую призму, тоже становились «своими». Какой у меня был принцип работы? Я получал подстрочник. Но, прошу отметить, я никогда не начинал работу, например, с грузинским подстрочником, если при нем не было разбора фонетического звучания стихов. Прежде чем переводить, я должен был понять музыку стихотворного произведения, его образы, обрести понимание всего стихотворения в целом... Со мной работал Николай Маркович Микава, консультант по грузинской литературе в Союзе писателей. Он меня и познакомил с грузинской литературой, помогал в выборе произведений. Я никогда не знал грузинского языка. Конечно, мне, как переводчику, было бы хорошо его знать, но у меня всегда имелось шуточное оправдание. Дело в том, что люди, которые знали язык, как ни странно, переводили стихи хуже. Увы, так и не совпало, чтобы человек, хорошо знавший грузинский язык, при этом хорошо владел бы и стихотворным русским. Но мы не можем забывать блестящие переводы грузинских поэтов таких русских литературных корифеев, как Пастернак, Заболоцкий. Никто из них не знал грузинского языка, но это компенсировалось тем, что они хорошо были знакомы с Грузией, с ее традициями, менталитетом.

– *Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?*

– Я хотел бы сказать всем жителям любимой мною Грузии, чтобы они не забывали, что на севере у них есть настоящие друзья, которые их любят и ценят, всегда рвутся к ним навстречу и всегда рады видеть их у себя, в России...

Беседовала Анна Анастасиади
«Вечерний Тбилиси»

2012

– Вы писали стихи для песен к фильму «Веселая хроника опасного путешествия». Чувствовалось, что песня «Арго» станет таким же хитом, как и «Пора-пора-порадуемся...»?

– Вы знаете, это самая моя любимая песня из всех, которые я переводил. Мне она нравилась задолго до того, как я начал ее переводить. И тут дело даже не в переводе. Это фантастическая, пленительная мелодия Александра Басилая. В ней чувствуется и Грузия, и старина, и что-то греческое там есть, и аранжировка потрясающая. Песня «Арго» доставляет мне наибольшее удовольствие из всех, что довелось переводить.

– А что для вас Грузия? Вы же не раз обращались в своем творчестве к грузинским темам.

– Очень много. Самое большое удовольствие я получал от перевода грузинских авторов. Грузинская поэзия – это по классу европейская поэзия. По-настоящему прекрасная европейская поэзия. Я очень много времени провел в Грузии, был членом Совета по грузинской литературе при Союзе писателей. У меня было много друзей среди грузинских авторов. Вот, к сожалению, буквально на днях скорбная история случилась, умер последний, может быть, из плеяды замечательных грузинских поэтов моего поколения – Тамаз Чиладзе. И одновременно умер более молодой, тоже талантливый грузинский поэт Володя Саришвили. И это для меня большая беда. К сожалению, я давно не был в Тбилиси. А в свое время я ездил туда и возил всех, кого любил. Мне было интересно привезти туда друга и подарить ему этот город, совершенно пленительный город. Его очень любили Белла Ахмадулина, Вася Аксенов, Женя Евтушенко. Я тоже очень люблю Тбилиси.

– Расскажите, пожалуйста, о песне «Синий балкон» для Николая Караченцова, музыку к которой написал композитор Нодар Николаишвили.

– Коля Караченцов участвовал в одном российско-грузинском проекте и обратился ко мне с просьбой написать песню о Тбилиси. Я очень люблю Колю, поэтому его просьба была для меня почти законом, как говорится. В ту пору я уже не очень любил подтекстовки, переключился совсем на другие работы, но мне очень хотелось, чтобы Коля Караченцов спел то, что я написал бы конкретно для него. И тут я вспомнил, что меня всегда поражало в Тбилиси – обилие синего цвета в резных деревянных балконах. И там была, как сейчас помню, площадь, на которую выходило здание с этими синими балконами с резьбой, и на них висели яркие красные перцы. До сих пор для меня Тбилиси – это синий балкон с красными перцами. Я с удовольствием сделал для Коли эту работу, а он отнес ее композитору, который написал музыку. И сейчас я с удовольствием слушаю эту песню в исполнении Коли.

Беседовали Максим Федоров и Виталий Гапоненко
Retroportal
2018

– В пединституте вас окружали потрясающие люди – Юрий Визбор, Петр Фоменко, Юлий Ким... Про Фоменко говорили – озорной, хулиганистый...

– Фома – это миллион историй. То с приятелем перегородили улицу Горького. Расставили пузырьки прямо на проезжей части с криками: «Идет проба воздуха!» То загримировались под Книппер-Чехову и ее сопровождающего, в таком виде заявили к ректору Школы-студии МХАТ. А случай в Грузии? Когда ни в Москве, ни в Ленинграде для Фоменко работы не нашлось, он уехал в Тбилиси, ставил спектакли в театре Грибоедова. Как-то после поздней репетиции решили с актерами поужинать. Все уже было закрыто. Наконец набрали на какое-то здание, где на пятом этаже располагалась харчевня. Их нехотя пустили, выставили подсохшие закуски и минералку. Голодные артисты набросились на еду. А дальше – чудо. В зале появился толстый важный человек, бросил несколько фраз – и официанты забежали. Мигом поменили скатерть, вынесли вино, лобио, пхали, сациви...

– Кто же это был?

– Понятия не имею. Но он уселся во главе стола, весь вечер говорил то-сты. В какой-то момент поднялся: «А теперь я хочу выпить за лучшего сына этой сладкой земли... И если кто-то откажется, я выпрыгну с пятого этажа, мамой клянусь! Так вот выпьем за великого Иосифа Сталина!» В секундной тишине все услышали, как Фоменко поставил фужер и сказал: «Прыгай, б....ь!»

– И?

– Тамада вскочил на подоконник, открыл окно. Его, разумеется, стащили. Сомневаясь в достоверности этого рассказа, я как-то поинтересовался у Фоменко, так ли все было. Петя кивнул: «Да. А когда тамаду сняли с подоконника, он вырвался, подлетел ко мне. Думал, в морду даст. А он взял фужер и произнес: «Ну и хрен с ним! Выпьем за Ивана Грозного!»

*Беседовали Юрий Голышак, Александр Кружков
«Спорт-Экспресс»
2020*

«А ПЕСНЯ-ТО БЫЛА ВЕСЕЛАЯ...» (Из книги воспоминаний «Когда мне было лет семнадцать»)



Грузия была нашим праздником. И он всегда был с нами, потому что мы или занимались переводами, или гуляли с авторами в Сакартвело. Для нас, невыездных или маловыездных, Тбилиси был Италией, Южной Францией, не знаю, чем еще – только не официальной советской столицей. Сама архитектура старого города возражала новоделам, с трудом их терпела, и они предпочитали там не возникать. Синие деревянные балконы – вот что определяло для меня облик города. Не то чтобы их в городе было больше, чем каменных фасадов, но они были повсюду, именно из распахнутых за ними окон доносился Шопен, или многоголосое пение, или какая-нибудь другая хорошая музыка. Именно под ними возникал внезапно вечерний женский силуэт, абсолютно парижского (в нашем представлении) облика и в облаке дорогих духов отправлялся по узенькой вертикальной улочке к проспекту Руставели. Именно на таком балконе возникали толстые усатые дядьки, иногда с рогом в руке, от полноты жизни желающие выпить это хорошее вино с кем-либо из приезжих, бродящих по Харпухи или Авлабару или какому-нибудь другому старому району. Именно на голубых резных перилах такого балкона висели алые, пылающие гроздья перца, принося в даиси, эти особенные синие тбилисские сумерки, новую яркую краску.

Я впервые приехал в Тбилиси, потому что захотел послушать, что скажет о моих переводах из Тициана Табидзе его семья. Еще была жива жена поэта Нина Александровна. О его дочери, Ните, все, кто ее знал, говорили с нежностью и улыбкой. Но я тогда никого из них не знал. Я вообще никого не знал в этом городе. У меня было письмо к какому-то большому начальнику, русскому, чуть ли не второму секретарю не то города, не то республики. Странно, но я прямо с самолета легко попал к нему на прием. Он прочел письмо, содержащее что-то, что ему было интересно, улыбнулся, задал мне пару вопросов и, не спросив, где я буду ночевать, попрощался со мной.

Я пошел по незнакомому городу в оперный театр, куда у меня было второе письмо, к дирижеру. В театр меня не пустили, дирижер отсутствовал. Но веселая вахтерша, с рыжими волосами и голубыми широко расставленными глазами, как выяснилось, мингрелка, узнала, что я из Москвы и мне негде преклонить голову. Она немедленно сняла трубку телефона и сказала:

– Соломон, сейчас к тебе придет хороший человек. Так ты его размести! – И объяснила мне, что надо пройти сто метров по Руставели, и будет гостиница «Интурист», так мне – туда. Осведомленный о быте московских «Интуристов», не имея никаких бумаг, я было засомневался. Но она быстро убедила меня, что Соломон сделает все, как надо, не ночевать же хорошему москвичу на улице!

И Соломон действительно сделал. Целые две недели я жил в приличном интуристовском номере, с балконом во внутренний, выложенный мрамором двор при фонтане, наслаждаясь запахом еще тогда малознакомых мне грузинских приправ из гостиничного ресторана и пением великолепного грузинского певца.

Первую «рыбу», то есть бессмысленный набор слов, точно передающий ритм и особенности мелодии, я должен был составить с помощью приветливой и очень обаятельной девушки, которая должна была петь за кадром в фильме Николая Санишвили. Нам нужен был рояль. Мы долго искали его и наконец нашли в тонстудии. Девушка села за клавиши и сыграла первую фразу. И тут же в динамиках раздался грозный голос звукооператора:

– Какой хрен там рояль теребит?!

– Это я, Шалва, дорогой...

Голос оператора мгновенно превращается в мурлыканье:

– Нани, девочка, играй, генацвале, сколько хочешь играй!

Нани спела первую фразу. Я ничего не успел записать, потому что потерялся от самого тембра, от необычайной певучести этого голоса... Я впервые слышал такой голос, такую манеру пения. Я впервые слышал Нани Брегдадзе.

Переводчик Володя Луговой жаловался на то, что директор тбилисского издательства Карло Каладзе, очень широко принимая русских поэтов и трагично на них огромные личные средства, проявляет прижимистость и старается оттянуть момент оплаты переводов издательством.

Луговой поселился в гостинице «Иверия». Денег у него было крайне мало. Утром он спустился в кафе, заказал мацони, бутерброд с сыром и кофе, и попросил счет. Официант, сонно глядя на хевсурские ковры, украшавшие стены кафе, равнодушно произнес:

– Восемь восемьдесят.

Луговой заплатил и ушел.

К обеду он проголодался и в том же кафе заказал сациви, харчо и шашлык. К удивлению Лугового, тот же официант тем же равнодушным голосом назвал цену обеда:

– Восемь восемьдесят...

Вечером Луговой поужинал там же, но с вином. Официант был прежним. Прежней была и цена. То ли официанту лень было считать, то ли еще что, но за любой заказ Луговой платил «восемь восемьдесят».

Перед отъездом Луговой, так и не получивший своих денег в издательстве «Мерани», но зато познакомившийся в Тбилиси с красивой приезжей девушкой, пригласил ее во все то же кафе и сделал роскошный заказ, где был коньяк, вино, икра, все многоцветье грузинских закусок и шашлык.

Свободно и раскованно болтал он со своей красавицей, зная, что от официанта может услышать только одно:

– Восемь восемьдесят.

Официант, такой же сонный и равнодушный, как всегда, между тем, произнес:

– Восемьдесят восемь восемьдесят...

Володька звонил Карло Каладзе по телефону, чтобы тот приехал и выкупил его.

Однажды мне позвонил Арканов, попросивший меня заменить его в Тбилиси, где он должен был переводить песни к фильму. Автором текстов был Петре Грузинский. Что бы сказал человек, не знающий Грузии, об авторе по фамилии Грузинский? Что это, скорее всего, человек еврейской национальности, взявший себе звучный псевдоним. Ничуть не бывало! Петре был единственным прямым потомком князей Багратиони-Грузинских.

Во время Отечественной войны с ним случилась смешная и страшная история. Грузинские меньшевики, бежавшие в Германию после вхождения Грузии в Советский Союз, объяснили Гитлеру, что грузины – народ монархический. И если он хочет, чтобы в Грузии нормально отнеслись к немецкой оккупации, то надо бы поставить во главе грузин царя. Кандидатура была только одна: Петре Багратиони. И бедный Петя, юный гуляка и поэт, ни сном ни духом не помышлявший о престоле, был упомянут в имперских документах рейха в качестве кандидата в цари. Кавказа Гитлер, как известно, не взял. Но, на беду, документы попали в руки наших органов. И Петя отправился в известные места. Откуда появился спустя долгое время. И скоро написал вместе с композитором Лагидзе песню, которую пели все, – «Тбилисо».

Я знал его уже не очень молодым красивым человеком. Хромота и не свои зубы говорили о том, что ему пришлось пережить. Он понравился мне тем, что за велеречивым и вежливым грузинским столом говорил, в общем, то, что думает. Он сразу, поднимая тост за меня, сказал: «Что-то мне в тебе нравится, что-то нет». И мы подружились.

Петре появлялся в студии, когда запись номеров подходила к концу. А было это уже сильно за полночь. Уже достаточно веселым. Он появлялся с криком:

– Юрка, кончай мое говно записывать. Поехали кутить!

Я в это время пытался объяснить Нани Брегвадзе, как произнести звук «ф» в слове «любовь». Нани, виновато на меня глядя, говорила:

– Дорогой, все могу для тебя сделать, это не могу!

И, как ни старалась, пела «любоВь», как написано. Режиссер Николай Санишвили объяснил мне, что звука, требуемого мной, в грузинском языке нет. Можно в крайнем случае спеть вместо «ф» – «п». На любоПь я был неогласен.

– Коля, кончай свое дерьмо снимать! – кричал Петре. – Кто кутить будет?!

Санишвили махал рукой, прекращал запись и, чертыхаясь, уезжал домой.

Нани, ее двоюродная сестра Цисана и я садились в Петину машину. И он срывал ее куда-то в дождь и полную темноту. Вначале Нани и Цисана пели. Передать это пение словами невозможно. Поэтому умолчу. Потом Нани, которая и во время записи улучала минутку, чтобы поспать, стихала. Мы давно выехали из города и мчались во тьме неизвестно куда.

– Куда мы, Петя? Я есть хочу! – робко говорил я.

– Сейчас будем есть! Я царь или не царь?! – кричал Петре, гоня машину на последней передаче. Я обреченно затихал.

Наконец мы останавливаемся перед зелеными воротами, высвеченными Петиными фарами. Петре громко гудит. И не успеваю я подумать, что никто нам в эту ночную пору не откроет, – ворота раскрываются, и я, к изумлению своему, вижу радушно встречающую нас группу людей в белых фартуках и поварских колпаках, а впереди них «органиста» с шарманкой, на которой изображена русалка с пятым номером груди без лифчика и надписью, обозначающей место изготовления, – одесская фабрика «Нечада». Все сияют.

Петре говорит что-то по-грузински. Я понимаю только слово «цицматы». Хозяева сокрушенно и отрицательно мотают головами. К нашему ужасу, машина срывается с места и устремляется в темноту... Мы негодуем: что такое «цицматы»? Просто травка!.. Неужели нельзя обойтись без нее? Петре прерывает нашу оппозицию грозным воплем:

– Я царь или не царь?!! Эсли в округе хоть одна живая собака есть, скоро будем есть барашка!

Еще полчаса езды. Зеленые ворота. Дежавю какое-то... Петре гудит. Ворота открываются. Белые колпаки, белые фартуки, шарманка, опять – «Нечада». Петина речь, не допускающая даже такой возможности, как отсутствие цимат. Колпаки кивают головами... Пир на весь мир!

Как-то я привез в Тбилиси своих друзей. Для меня дарить этот город близким – до сих пор наслаждение. Хотел познакомить их с Петром, но того сначала не было в городе, потом плохо работала телефонная связь. Короче, повидаться не удалось. Когда нас пригласили на посадку в самолет, я, выйдя из здания аэропорта, вдруг увидел Петре, стоящего на галерее второго этажа. Видимо, он кого-то встречал. Я сдуру крикнул ему и помахал рукой... О Господи, лучше бы я этого не делал. Ругань и поношения, обрушившиеся на мою голову, когда он понял, что я уже улетаю, улетаю, не повидав его, не отдавав с ним барашка в циматах, ругань и поношения – через расстояние метров в пятьдесят обратили на себя внимание всех, кто прилетал и улетал, кто встречал и провожал в эту минуту. К сожалению, мало кто из них знал, что эти цветистые тирады принадлежали их несостоявшемуся царю.

Я стал часто ездить в Тбилиси. Помню, в мое второе посещение города мне позвонила Нита Табидзе и сказала, что меня хочет пригласить в гости Иосиф Н. Мы были незнакомы. Иосиф был популярнейшим поэтом Грузии, секретарем всех возможных творческих объединений, республиканских и всесоюзных. Я был никому не известный, можно сказать начинающий переводчик. Мне не по чину было занимать время такого человека, как Н. Кроме того, я очень торопился с переводами для ансамбля «Диэло», в котором пел тогда мрачный комик Буба, будущий знаменитый Вахтанг Кикабидзе. Я сказал об этом Ните. «Иосиф все равно позвонит!» – ответила она.

И он, действительно, позвонил.

– Юрий, давай, выходи, мы за тобой приехали! Поедем, покушаем не-

много.

Я стал благодарить и отказываться, объясняя, что у меня долг перед Бубой, перед Нани Брегвадзе. Иосиф сказал, что Буба и Нани – его друзья, и они меня простят. Я упирался.

Тогда он произнес:

– Ну, я тебе сейчас Рамзеса дам...

«Ну вот, – подумал я. – Допился здесь до того, что египетские фараоны тебе по телефону звонят!» Но в трубке возник голос Витьки Рамзеса, переводчика Союза писателей, совсем даже не египетского фараона, а, я бы сказал, наоборот.

– Старик, кончай сопротивляться, он от тебя все равно не отстанет! Выходи, мы стоим около твоей «Абхазии».

Спускаясь с пятого этажа гостиницы «Абхазия», я разглядел в лестничное распахнутое окно стоящий внизу длинный, открытый, «представительский» лимузин. Сверху мне показалось, что он доверху наполнен баклажанами.

Когда я подошел к машине, оказалось, что это темнокожие гости Иосифа. Он возил их в свое родовое село Карденахи. Их было человек пять, и от многодневного пьянства под руководством Н., они пошли в синеву. Сам Иосиф, небольшого роста безусый человек в берете, с абсолютно свежим, розовым лицом источал спокойствие и гостеприимство. Он стал знакомить меня со своими гостями.

– Это Мвамба-Квамба (не помню сейчас подлинных имен представляемых мне людей), министр автомобильных дорог Кении. Это Мумба-Юмба, министр здравоохранения Кении. Это Громба-Момба, министр вооружения Кении.

Я понял, что нахожусь в окружении кабинета министров африканского государства. И вспомнил, что Иосифа в Тбилиси называли Иосиф Кенийский.

Министры, почему-то все маленького роста, не открывая глаз, вяло протягивали мне розовые с изнанки ручки.

Их отчаянно мутило.

– Моя жена, к сожалению, не совсем здорова. Я не могу вас пригласить к себе. Мы поедем к моей сестре. Она не писатель, не артистка. И муж у нее тоже не писатель. Но им надо посмотреть, как простые советские люди живут, а?

И он обернулся ко мне за подтверждением. Я принужденно кивнул. Витька подмигнул мне: сейчас, мол, увидишь, как живут простые советские люди.

А жили они, как оказалось, в двухэтажном, целиком принадлежащем им особняке. Нас привели в комнату, напоминающую размером Красную площадь. В разных ее сторонах, как два мавзолея, стояли два цветных телевизора, хотя даже один цветной телик был тогда большой редкостью. Экраны были включены, но неподвижны. На каждом из них была афиша грядущей передачи: «Футбол. СССР – АВСТРИЯ». Неподвижность эта очень устраивала правительство Кении. Министры облегченно уставились в телевизоры. Но в эту минуту картинка сменилась, все на экранах забегали, заметался пестрый мяч, и кенийцы с тяжкими стонами отвернулись, не зная, куда девать глаза, потому что напротив стоял такой же телевизор.

Нас позвали к столу...

На четырнадцатом тосте Иосиф встал. Он стоял абсолютно прямо. Я поинтересовался у сидящего рядом Рамзеса, почему он такой трезвый.

— А он же ничего не пьет, — сказал Рамзес.

Я присмотрелся: и впрямь хозяин только пригублял.

— Я хочу выпить за человека... — он на секунду задумался.

Я внезапно почувствовал некоторую обиду. По моим представлениям, давно надо было выпить за меня. Но предстоял какой-то особенный тост. Иначе зачем бы Иосиф предложил всем встать.

Кабинет министров в эту минуту представлял собой забор из поломанного штакетника. Министр здравоохранения поддерживал военного министра, вернее, они оба поддерживали друг друга, представляя собой букву «Л» русского алфавита.

— Я хочу выпить за человека... — повторил Иосиф, — без стихов и переводов из Тициана Табидзе которого мне трудно было бы жить на этом свете.

Я насторожился, потому что, насколько мне было известно, никто, кроме меня, Тициана здесь не переводил.

— Я хочу выпить за Юрия! За его маму, красавицу Ксению Александровну, за его дом, за его друзей...

Он долго говорил обо мне и моих неведомых мне заслугах перед грузинской и русской поэзией. Как хорошо он знает мои труды! Как точно сказал о энергии «Растянутого мадригала» Тициана Табидзе, за который я больше всего беспокоился. И я забыл благую прямоту Петре Грузинского.

В пьяной моей голове стала формироваться настойчивая мысль о том, не попросить ли мне политического убежища в этой прекрасной и так расположенной ко мне стране. А то там, на мрачном севере, «в стране рабов, стране господ» никто меня не знает и не ценит. А здесь!..

В конце пира, перед тем как встать, Иосиф сказал мне:

— Сейчас поедem в Кахетию. Поедим немножко, попьем.

— Я не могу в Кахетию, Иосиф! У меня долг перед Бубой и Нани.

— Ничего, это мои друзья. Я им сейчас позвоню, мы их с собой возьмем.

— Нельзя, Иосиф! У нас срочная запись на Грузия-фильм!.. Отвези меня, пожалуйста, в «Абхазию».

— В Абхазию не могу.

— Почему?

— Далеко. Шофер устал.

Шофер, между прочим, пил со всеми наравне.

— Почему далеко? Улица Важа Пшавела...

— А, в гостиницу? Я думал, к морю... В гостиницу можно.

Мы вышли. Сад вокруг дома цвел всей майской свежестью. Иудино дерево, со своим розово-сиреневым от покрывающих его лепестков стволом, казалось, да и было, символом пряного, великого, невозможного юга!

Журчали ручьи. Я не сразу понял, что это кенийский кабинет министров, вокруг иудиного дерева, облегчает свои мочевые пузыри от выпитого.

Когда мы подъехали к «Абхазии», я сказал Иосифу.

— Когда ты приедешь в Москву, я, конечно, не смогу принять тебя так же.

Но у меня есть друг Алик, и у него есть старая «Победа», и она еще очень прилично ездит. Она будет в полном твоём распоряжении. Иосиф кивал головой и говорил на мои посулы только одно слово:

— Ничего, ничего...

Мы с ним обнялись, попрощались. Когда я уже ступил на крыльцо гостиницы, я услышал:

— Юрий! Вернись, я тебе забыл свою книжку подарить.

Я вернулся за книжкой. Он вынул ее из внутреннего кармана плаща. Надел очки. Достал паркеровское вечное перо, чтобы сделать подарочную надпись. Посмотрел на меня поверх очков. И спросил:

— Как твоя фамилия?..

О, мой любимый Тбилиси!

Мрачный комик из ансамбля «Диэло» Буба не сразу стал любимцем всего Союза народным артистом Вахтангом Кикабидзе. А став им, приобрел неторопливость, вальяжность, но не потерял свойственного ему ранее дружелюбия и верности людям, с которыми ему есть что вспомнить. Я любил напоминать ему, как руководитель ансамбля Амиран Эбралидзе, роскошный парень «во всем штатском», говорил мне: нам поэтический материал не важен, вы нам в конце музыкальной фразы звук «а» поставьте, у Бубы «а» хорошо получается.

Как-то летом Буба зашел в пицундский Дом творчества писателей, вызвав безумное волнение среди писательских жен и, особенно, дочек. Он был мрачноват. Его только что обокрали. Он жаловался мне:

— Юрка, мне профессиональные старые воры говорят: Буба, у молодежи ничего святого нет — у кого хочешь взять могут, мы на них влияния не имеем. Вахтанг рассказал мне, что к нему часто обращаются с самыми непредсказуемыми просьбами. Например, ему позвонили знакомые и с плачем рассказали о своем сыне. Мальчик очень талантливый, артистичный. Но кого-то ограбил. И не то беда, что в тюрьму сел, а то, что, по слухам, доносящимся из тюрьмы, стал баловаться наркотиками. Знакомые умоляли спасти мальчика.

— Ну и что ты сделал? — недоуменно спросил я.

— А что я сделаю?.. Поехал в Рустави, в тюрьму, где он сидел. Приехал, хотел расплатиться с шофером такси. Он говорит: — «Вы идите, я подожду. Если человек в тюрьму приехал — значит, надо!» Я захожу в администрацию. Начальник тюрьмы встречает, как родного: — «Вах, кто к нам приехал!». Я ему говорю: — «Батона, Арсен Кикалеишвили у вас сидит?»... Ты, Юрка, Арсена знаешь?.. Не знаешь?! Что ты, это такой человек! Красавец. Ален Делон! И — образованный, умница, Стефан Цвейг, Марсель Пруст — всех знает! Но — сидит... Начальник отвечает: — «Да, Арсен у меня отдыхает». — «Нельзя ли с ним повидаться?» Начальник, вижу, засомневался: кто я? Адвокат, следователь? Всего-навсего народный артист. Потом смотрю: ведут Арсена. Красавец, Ричард Гир! Обнялись с ним. Он спрашивает: — «Тебя за что, Буба?» Я ему объяснил ситуацию: хороший был мальчик, но страшно, что наркоманом станет. Он говорит: считай, что мальчик снова хороший. И

не будем об этом. Пойдем в зону, нам есть о чем поговорить. Начальник у виска пальцем завертел: ты, что, Арсен, с ума сошел? Кто Вахтанга в зону пустит? Арсен так на него взглянул, что он рукой махнул: «А! Я сам с вами с ума сойду, делайте, что хотите!» И мы вошли в зону. И первые, кого я там увидел, были директора с «Грузия-фильм», много директоров. Они же, многие, как работали? Видят, стоит в павильоне шкаф. Спрашивают, что за шкаф? Отвечают: реквизит. «Что такое «реквизит»? И что он здесь делает?» – «Просто стоит». – «Пусть у меня на даче стоит». Теперь вот сидят. И все ко мне с одним вопросом: «Буба, тебя-то за что?!»

Вахтанг рассказал, что Арсен пригласил его в марани, настоящий винный подвалчик, здесь, в зоне! Собралось изысканное общество: одни директора картин. Несколько часов они пировали, а когда Буба собрался уезжать, Арсен щелкнул пальцам, и двое шестерок внесли дымчатую дубленку такой красоты, что даже Кикабидзе, повивавший в своей жизни всякие дубленки, залюбовался. – Примерь! – сказал Арсен. «Юрка, я примеряю, а сам Бога молю, чтобы не в пору оказалась. Как я, народный артист, из тюрьмы в дареной дубленке поеду! Слава Богу, что рукава длинные, он высокий, Арсен, ну, Клинт Иствуд! Я развожу руками. Но он, Арсен, все понял, он же Кафка-мавка, все знает! Щелкнул пальцами опять – внесли чеканку, я такой нигде не видел! У них же артельщики сидели. Потом весь Тбилиси ездил в тюрьму за такой чеканкой... Мы простились. Арсен опять сказал: передай родителям, мальчик уже хороший... Я выхожу из тюрьмы, думаю, где мне теперь этого таксиста искать, расплатиться, столько времени прошло. Смотрю, он стоит. Говорит: раз человек долго из тюрьмы не выходит, значит, ему надо!»

Спустя какое-то время Кикабидзе позвонили по телефону. Это был Арсен. «Ты не бойся, Буба, я не убежал. Нормально освободился». Вахтанг обрадовался ему: он очень помог, мальчик действительно стал хорошим. У Арсена была просьба. «У моего папы день рожденья. Он будет счастлив, если ты в этот день споешь ему «Фазтонщика». Буба, конечно, обещал. Арсен сказал, что заедет за Вахтангом. Но в назначенный день, буквально за час до этого, Бубе позвонили с киностудии. Обнаружен брак в озвучивании, нужна срочная перезапись. Буба наказал теще: – «Калбатону, ко мне приедет один профессиональный вор, так вы его примите, пусть он меня обязательно дождется». И уехал. Раздался звонок. Теща открыла дверь. За дверью стоял роскошный мужчина. Ален Делон. Теща объяснила ему, что Бубу срочно вызвали на студию, но уважаемый может его подождать, зять скоро вернется: к нему должен прийти один профессиональный вор.

– Это я профессиональный вор, – вежливо объяснил Арсен, располагаясь в квартире народного артиста.

Кикабидзе рассказывал мне о старом аристократе, работавшем много лет на студии «Грузия-фильм» в качестве консультанта по светским манерам. Как поцеловать руку даме, как пригласить ее на танец, как сесть в седло и как слезть с лошади – для всего этого вызывали очень уже древнего, но все хорошо помнящего человека, бывшего офицера-гвардейца. Назовем его Шалва. Человек он был очень робкий, со времен революции боящийся

большевиков, чрезвычайно почтительный со студийным начальством.

И вот наступил день, когда Шалве исполнилось девяносто. Он набрался смелости и пригласил к себе всех главных лиц студии, администраторов и актеров. Они сидели в его доме, ожидая, пока Шалва с помощью специального сосуда – оршимо – достанет вино из громадного кувшина – кевври, – зарытого в саду. Шалвы не было. Все уже начали скучать, когда в дверях вдруг появился хозяин. Он был одет в черкеску с золотыми офицерскими погонами. В каждой его руке было по маузеру. Он был совершенно пьян.

– Встать, большевистская сволочь! – сказал он присутствующим.

Гости растерялись. Потом сообразили, что это, видимо, шутка. Раздались смешки.

Тогда Шалва повторил:

– Встать, сволочь большевистская! Пошли вон! – И выстрелил из обоих маузеров под ноги присутствующим.

Всех как ветром сдуло. Отдышавшись после быстрого бега, гости стали хохотать, вспоминая грозный вид хозяина.

– Ай, молодец старик! – говорили они. – Сколько лет терпел нас, а все-таки не вытерпел!

На следующий день Шалва униженно ходил по кабинетам студии и, заглядывая в лица начальства, просил прощения за вчерашнее. К чести грузинского киноначальства, никто и не думал его наказывать.

Ираклий Абашидзе. Олицетворение княжеского достоинства. А по мнению поэта Михаила Синельникова, даже царского. Между тем сам Ираклий говорил, что он «из крестьян».

Он был величествен и вместе с тем предельно прост. Я всегда избегал всякого начальства. С ним, обладателем всех возможных в Советском Союзе регалий и постов – от ученых до политических, я чувствовал себя хорошо и уютно. Не знаю, как посреди грузинских застолий Ираклий Виссарионович сохранил свою фигуру, но он и под конец жизни был похож даже не на бывшего, а на действующего баскетболиста: высоченный, поджарый, с расслабленной пластикой.

В Грузии его, как и всех поэтов, называли по имени, говорили «Ираклий», и все знали, о ком идет речь.

Ираклий один из немногих в своем поколении ощутил вину за то, что происходило в стране. И написал об этом в горьких стихах. Он ненавидел Сталина. Называл его «Усатый». Было время, когда начались попытки отыграть назад после XX съезда. В Грузии они были особенно активны. Возглавлял их секретарь по идеологии Дэви Стуруа. И он, и Ираклий были личными друзьями главы грузинских коммунистов Мжаванадзе. Между собой они вели яростные споры о роли Сталина.

Мне рассказывали, что на каком-то республиканском мероприятии все трое ехали в машине Мжаванадзе. Машину сопровождал целый поезд из «ЗИСов» и «Волг», на которых увязалось за руководством начальство поскромнее. Ираклий и Дэви, продолжая их давнюю и ожесточенную баталию, все повышая тон, говорили о прошлом. Мжаванадзе, не вмешиваясь, слу-

шал. И в какую-то минуту он понял, что ему предстоит немедленно решить, чью сторону принять. И он решил. Остановил машину и сказал Ираклию:

– Выходи!..

Ираклий вышел. Он стоял в чистом поле. И вся колонна чиновников, которые за праздник считали, если Абашидзе кивнет им, проехала мимо него. И никто не предложил ему сесть в машину.

Наверно, эта история, с ее шекспировской картиной одинокого поэта, стоящего на фоне проходящих автомобилей с отворачивающимися лизоблюдами, была художественно додумана. Но Ираклий вскоре переехал в Москву, где был близок с Александром Твардовским и редакцией журнала «Новый мир». Там, в «Новом мире», и был напечатан перевод его стихотворения «Памяти Паоло Яшвили», которое не могло быть опубликовано в то время больше нигде.

Дело в том, что Ираклий был первым человеком, обнаружившим тело талантливейшего поэта, застрелившегося в Союзе писателей Грузии из охотничьего ружья. Причиной была доверчивость Паоло, не предполагавшего всей низости и вероломства Берия, с которым грузинским поэтам не раз случалось пировать за толерантным грузинским столом. Об этом хорошо написано в книге Галины Цуриковой «Жизнь поэта». «Груз полувека», о котором писал Абашидзе, заставил-таки его сильно и жестко выразить то, о чем говорилось глухо или не говорилось в поэзии вообще:

В Грузии – смутно.

Год роковой.

Каин вещает.

Выйдут на травлю, скажут, что – враг.

Имя отымут.

Четверть столетья

душу мою взор твой смущает.

Только ли боги, –

я говорю, –

смерти не имут?

Я помню, как праздновали юбилей Ираклия в Москве, в ресторане в Архангельском. Ираклий привез из Грузии все, чем могла порадовать грузинская деревня. За бесконечными столами сидела вся либеральная литература России и Грузии во главе с Твардовским.

Где эти люди? Никого.

Говорили, что в Тбилиси есть духан, в который никогда не ступала нога фининспектора. Якобы Сталин в последний свой приезд в Грузию проезжал мимо этого духана по дороге на аэродром. Ехало сто машин, предше-

ствовавших вождю, потом машина вождя, потом еще сто машин сопровождения. И вдруг все встало. Потому что у дороги стоял человек с красным флажком, означающим, что дальше ехать нельзя. Сталин спрашивает:

— В чем дело?..

Охрана отвечает:

— Иосиф Виссарионович, какой-то идиот говорит, что хочет угостить вас своим хинкали.

Сталин подумал и говорит:

— Между прочим, я давно не ел хороших хинкали...

Вышел, зашел в духан, попробовал хинкали. Одобрил. Спрашивает:

— Чем я могу вас отблагодарить?

Духанщик говорит:

— Просто дайте телеграмму, как доехали.

Охрана чуть не задохнулась от злости. Сталин уехал.

Через день духанщик получил телеграмму: «Доехал хорошо. Спасибо. Сталин».

Духанщик заключил телеграмму в рамочку, повесил на стену и стал ждать фининспектора. Фининспектор, первый и последний в этом духане, пришел.

— Ты долго, такой-сякой, советскую власть обманывать будешь? — спросил он.

— Ты пойдй почитай там, на стене, — ответил хозяин.

Фининспектор подошел, почитал, и больше ни один представитель финансового контроля при советской власти в этот духан не заходил.

Я поинтересовался у Ираклия, правда ли была такая история. Ираклий улыбнулся:

— Правда... Только это Калинин был.

Я мечтал показать маме Тбилиси. И мне удалось это сделать. Мама, впервые летевшая на самолете, легко перенесла полет и сразу же захотела посмотреть город. Я беспокоился, как она, которой было уже около семидесяти, на ее высоких каблуках, при высоком давлении, будет ходить по этим почти вертикальным улочкам.

Однако она, против ожидания, очень бодро пошла со мной от Земмеля до великого Метехского собора. Мы шли по проспекту Руставели мимо оперного театра, мимо «Интуриста», куда меня когда-то поместил всеильный Соломон по просьбе театральной вахтерши, мимо Театра Грибоедова, встроенного в новый универмаг. Театр этот местные остряки называли «Театр синагоги при универмаге», потому что руководил им сын Гоги Товstonогова Сандро. Мы смотрели на мою любимую скалу, на захватывающую дух высоту цветных домиков над Курой. Потом возвращались по Серебряной улице, где еще можно было увидеть вывески наследников Пиросмани, мимо двери в стене, на которой отчаявшиеся хозяева нарисовали свинью и написали: «Нагами дверь стучит только она!»

Из какого-то проулка вдруг вывалилась компания нетрезвых парней самого опасного возраста. Они шли позади нас, о чем-то споря, ругаясь по-

русски, и мама забеспокоилась.

— Сынок, давай подождем, пока они пройдут. Это какое-то хулиганье!..

Я объяснил, что это хотя и хулиганье, но — грузинское. Стоит им обнаружить, что мы — приезжие, и мы — в полной безопасности.

Так и случилось. Один из парней, абсолютно уголовного вида, стриженный наголо, с фиксой, догнал нас и что-то довольно агрессивно спросил. Обнаружив, что мы не понимаем по-грузински, он поинтересовался, откуда мы. Через пару минут он, несмотря на призывные крики приятелей, бросил их и довел нас до самой «Иверии», по дороге рассказав, что это самая большая и лучшая в Европе гостиница и он с удовольствием угостит нас в ней «лобио-мобио», «сациви-мациви» и чем Бог пошлет. Нам было некогда, мы простились, но — дружески. После этого случая мама считала, что все из Грузии — святые люди, всех надо принимать из последних сил. И однажды в моем московском доме ночевали сразу пять грузинских писателей, уложенных поперек большого дивана. Их выгнали из московской гостиницы, потому что они устроили в ней скандал в связи с отказом дежурной «немножечко с ними посидеть».

Тбилиси. Ресторан «Мухамбази». Грузинские писатели принимают российских. Российская делегация, очень разнообразная по составу, — это как раз та делегация, что коротала время в охотничьем домике около Кутаиси. В составе ее очень важный писатель. Он большой и толстый. К тому же, на нем драгоценная шапка из диковинной антилопы, подаренная ему в какой-то африканской поездке, она, похоже, теплая, но он носит ее, невзирая на погожую грузинскую осень.

Вот сейчас мы и должны отправиться на вокзал, чтобы ехать в столицу Западной Грузии. Говоря друг другу громкие и хорошие слова, хозяева и гости засиделись, не наблюдая часов, как всякие счастливые люди. А кутаисский поезд вот-вот должен отойти. Не помню, как нас загрузили в автобусы, как автобусы мчались к вокзалу. Короче говоря, когда мы оказались на перроне, была дана команда садиться в любые вагоны, кому куда ближе. Началась чудовищная спешка и неразбериха. Я оказался почему-то в конце состава. И вдруг увидел рядом с собой жену вышеупомянутого писателя. Мы вместе учились в институте, были в добрых отношениях, и нахождение в разных литературных лагерях на эти отношения никак не влияло. Мы вскочили в последний момент в последний вагон поезда. И тут выяснилось, что нам предстоит пройти через весь состав в первые вагоны этого состава, который не забуду за всю жизнь. Знаете ли вы, что такое кутаисский поезд, отходящий из Восточной Грузии в Западную? Сначала несколько вагонов, через которые невозможно пройти из-за корзин с курами, индейками, поросятами и не знаю, еще кем. Надо скакать через головы этих кудахтающих и визжащих представителей сельского хозяйства Карталинии. Куда и зачем их везут? Затем пара вагонов, которые уже едят и поют. И, наконец, несколько вагонов, где едут солдаты, расположившиеся прямо на полу, в проходе, потому что их количество не рассчитано на четырехместные купе. Надо было идти, ступая прямо по их головам, вернее, находя местечко между их голо-

вами, куда можно было бы поставить ногу. И вот это было самое опасное. Потому что ноги моей подруги были из тех самых ног, к каким не могут быть равнодушны солдаты любой армии, включая армию Страны Советов. Увидев, через что нам придется идти, я сказал своей подруге:

– Соберись! Ни на что не отвечай, что бы тебе ни предлагали. Не отпускай мою руку! Вперед!

И мы ринулись.

Мы шли долго. Менялся пейзаж. Менялся сам воздух пейзажа.

Наконец мы, держась за руки, оказались на пороге вагона, где пахло цивилизацией. По вагону металась гигантская, растерянная фигура корифея. Он находился в крайней степени волнения и только что не плакал. Вслед за ним метались его литературные ординарцы.

Жена его встала на пороге, победно раскинув руки, как красавица-казачка из его песен.

– Вот она я, Толюня!

Он посмотрел на нее мутным взглядом.

– Да погоди ты... У меня шапку украли!

Надеюсь, что это воспоминание не нарушит добрых отношений людей, каждый из которых прелестен и очень мне дорог. В данном случае неважно, живы ли они или нет. Отношения не кончаются с уходом кого-либо из участников.

Замечательный грузинский художник Ладос Гудиашвили жил в доме, одновременно являющемся его музеем. В громадном и высоченном зале был накрыт стол, за которым Ладос и его жена Нина Иосифовна принимали гостей. Стол вела Нина. В какой-то момент, когда было выпито уже немало тостов, она сказала:

– Дорогие мои, вот сидит мой муж, который лучше всех в Грузии рисует и хуже всех говорит. Вот он сидит так скромно. И он всегда говорил мне: «Нина, ты всех победила, ты даже усатого победила... (имелся в виду Сталин, который не простил Гудиашвили росписей Кашветского собора, и Ладос при нем был всячески притесняем), ...ты всех победила, – говорит мне этот скромный человек. Одного только ты не смогла победить: моего зятя, разбойника и хулигана, отпетого уголовника, ужасного негодяя и мерзавца!»...

После застолья Нина Иосифовна пошла показывать мне картины Ладоса. Потом она подвела меня к старинному шкафчику, на полке которого стоял маленький кувшинчик коричневого стекла с каким-то тронутым, но не выпитым до конца напитком.

– Батоно Юра, вы видите перед собой коньяк, который пил Борис Леонидович Пастернак, когда читал нам свои стихи из романа. Ах, Боря!..

Тут Нина Иосифовна куда-то отошла и вернулась с листком бумаги в руках. Она протянула мне его. Не узнать этот стремительно летящий почерк человеку, любящему русские стихи, было невозможно. У меня в руках было письмо Бориса Пастернака, написанное им Чуке, Чукуртме Гудиашвили, дочери Нины и Ладоса. Это было поразительное и такое характерное для Пастернака объяснение в любви. Он ни на что не рассчитывал, ничего не хотел

от юной дочери своих друзей. Он просто говорил о том, как потрясен обаянием и непосредственностью этой девочки.

Я еще много раз бывал у Ладо. И всякий раз было застолье. И всякий раз стол вела Нина. И всякий раз наступал момент, когда она вставала с бокалом в руках, и...

– «...ты всех победила... Одного только ты не смогла победить: моего зятя, разбойника и хулигана, отпетого уголовника...»

Надо сказать, что ни Чукуртму, ни ее мужа я до поры до времени так и не видел.

Однажды в Москву приехал Вахтанг Кикабидзе. Мы сидели у меня, пили водку и ели билиши, сибирские пельмени, коронное блюдо моей мамы. Я спросил у Бубы, как живут Гудиашвили. Он ответил, что старик, слава богу, здоров и Нина в порядке. И тогда я поинтересовался у него, как это получилось, что такая прелестная Чука вышла замуж за разбойника, хулигана и отпетого уголовника? Буба изменился в лице.

– Юрка, – сказал он, – если бы я не знал тебя, я бы не знаю что сейчас с тобой сделал! Какой хулиган? Какой разбойник? Какой уголовник?.. Это один из лучших грузинских режиссеров – Гурам Мелива, мой большой друг! И никогда больше такого не говори!

Я извинился и «затаил» на Нину Иосифовну обиду. В следующий свой приезд в Тбилиси я шел к Гудиашвили с твердым намерением добиться от Нины Иосифовны реабилитации ее зятя. За столом мы сидели рядом. И когда Нина, в очередной раз произнесла свою филиппику против уголовника и хулигана, с победным видом села в роскошное старинное кресло, я тихонько спросил ее:

– Калбатону Нина, за что же вы так своего зятя? Я слышал, он вполне приличный человек. И отличный режиссер.

В первую минуту Нина ошеломленно молчала. Потом повернула ко мне возмущенное лицо:

– Да, но по сравнению с Борей, конечно, уголовник!

Я промолчал, потому что «по сравнению с Борей» все мы были уголовники... А с Чукой и ее мужем Гурамом я познакомился позже, когда Гурам ставил наш с композитором Адлером мюзикл «Дракон», по Шварцу. Гурам оказался веселым, очень хорошо воспитанным человеком, умным и тонким режиссером, так что я даже и не смог себе представить, откуда возникла версия о его уголовной сущности.

А возникла она понятно откуда: из горячей материнской любви, про которую моя мама с улыбкой часто говорила: мать – кривая душа!

Приезжая в Тбилиси, я обычно останавливался в гостинице «Иверия». Тогда это был роскошный отель. Вечерами с балкона я наблюдал за хорошо освещенным окном в доме напротив. Я много лет ездил в Тбилиси, и мне было интересно, как меняется жизнь в этом окне, которую я мог наблюдать со своего балкона. А она никак не менялась.

И вот, когда я однажды проводил время за своим любимым занятием, в дверь раздался негромкий стук. Вошел рыжий человек и тихим голосом

осведомился у меня, можно ли видеть Юрия Ряшенцева... Через полчаса мы гуляли с ним по вечернему Тбилиси, болтая так, будто были знакомы всю жизнь.

Шура Цыбулевский был русским поэтом, жившим в Тбилиси постоянно. Здесь он был арестован за якобы антисоветскую деятельность и сюда же вернулся после отсидки. Он сразу же подарил мне свою книгу «Владелец шарманки». Там были стихи, не похожие на те, что писались в то время у нас на Севере:

Но я не вижу, чье это лицо
К зачитанному мной склонится тому...
Мой кабинет, как мамино кольцо,
Достанется кому-нибудь другому.

Если бы в грузинской столице не было бы такого, казалось бы, чуждого этому городу по крови поэта, то его следовало бы придумать. Он был погружен в этот город, будто был его уроженцем, и в то же время был влюблен в него, будто только вчера увидел его впервые. В то же время он замечал в Тбилиси черточки, которые легко пропустить приезжему. Он, например, обратил мое внимание на нередко встречающихся на улицах людей, которых, мягко говоря, принято считать странными: явно больных подростков, сумасшедшего вида стариков. «Это южный город...», – вздохнул он. Я не понял, почему в южном городе должно быть много таких людей, но почувствовал за этими словами какую-то грустную правду.

Зато в первую же нашу прогулку Шура произнес тихий, но незабываемый монолог о проспекте Шота Руставели.

«Есть в городе такие часы, обычно вечером, во время даиси, когда весь город гуляет по главной улице. У нас ведь с девушками – строго. Ты можешь ее пригласить в кино с ее сестрой. Потом, через какое-то время, – одну. Но тогда вы уже в глазах города связаны. Ваша возлюбленная вообще может быть замужем. И вы никогда не получите возможности поговорить с ней наедине. Но в определенные часы вы выходите на проспект Руставели. И вы знаете, что она тоже выйдет на него с подругами или с мужем. И вы несколько раз за вечер пройдете друг мимо друга и, возможно, обменяетесь взглядами. Это все, что вы можете себе позволить. Так будет сегодня, и завтра, и послезавтра... Всегда!.. Это громадное счастье видеть ту, которую ты любишь безо всяких надежд... В эти минуты Тбилиси превращается в вечный город!»

Одной из лучших вылазок на Кавказ была наша поездка в Грузию в составе группы, которую мы называли группой Кайсына Кулиева, по имени возглавляющего ее балкарского поэта. В группе собрались люди, симпатичные друг другу. Обстановка шуток и розыгрышей напоминала нашу поездку по землям, «не знавшим до советский власти письменности».

Кулиев – человек, про которого переводивший его Наум Коржавин гово-

рил, что это «горец в лермонтовском смысле этого слова». То есть прямой, благородный, выше всего ставящий честь. Кулиев Эмку, как друзья звали Коржавина, нежно любил и иначе, чем Эмочкой не называл.

В группе были Фазиль Искандер, Олег Чухонцев, Анатолий Жигулин, Эдуард Елигулашвили, спецкор «Литгазеты» по Грузии, Белла Ахмадулина, Эльдар Кулиев, студент ВГИКа, сын поэта, и другие хорошие люди. Мы выступали перед всегда очень отзывчивыми слушателями в разных грузинских городках. Коронным было выступление Беллы Ахмадулиной, которую в Грузии обожали. Мы не были уверены в том, что грузинский слушатель понимает все, что слышит, но завораживающий голос Беллы, ее музыкальность приводили зал в восторг.

«Они не вслушиваются, что написано, им важно, чтобы проклокотали. Сейчас Белла проклокотает и все будет хорошо!», – говорил Кайсын...

В музее Чавчавадзе мы слушали рассказ экскурсовода о вхождении Грузии в состав Российской империи. Кайсын вдруг подошел ко мне и сказал вразрез с тем, что говорил экскурсовод.

– Трагическая ошибка Ираклия Второго, что он пустил русских на Кавказ!

Лицо у него было встревоженное, как будто Маленький Ках только-только совершил этот безумный, с точки зрения балкарского поэта, поступок. Ему было все равно, кому он это говорит. Он был во власти своих, невеселых для нас, мыслей.

Но никакой национальной розни в группе не было и быть не могло. Разве что Эльдара приходилось удерживать, когда кто-либо из хозяев вдруг пытался сказать что-нибудь хорошее о Сталине. Эльдар помнил, что он – балкарец, помнил, как поступил Сталин с его народом. На фоне общего веселья и дружелюбия вспыльчивость Эльдара была мелочью.

С нами была преподавательница Эльдара по ВГИКу. Она никак не хотела поверить в то, что с нами не возят специальный народный хор – так здорово пели за любым столом и в любом селе местные жители. Поразительная музыкальная даровитость грузин сбивала с толку любого, впервые посетившего эти края.

Смешная история произошла с нами, когда мы подъезжали к Ликани, правительственному дому отдыха в районе Боржоми. Автобус шел по узкой лесной дороге. Фары его высвечивали то лису, то зайца. Все были в хорошем настроении, подначивали друг друга и шутливо друг с другом препирались. Олег Чухонцев, живший у меня перед этим некоторое время, на весь автобус обличал меня в том, что я якобы знаком со всеми красивыми женщинами Москвы.

На каком-то крутом повороте автобус, и так шедший очень медленно, еще чуть притормозил, и мы обогнали совершенно неожиданный здесь, вечером в глухом лесу, женский силуэт в серебристом плащике, который наши дамы тотчас определили как парижский.

Автобус прошел еще метров двести, лес внезапно кончился, перед нами был вход в роскошный дом. Пока мы стояли в ожидании размещения, продолжая перешучиваться, с опушки леса к нам приблизилась девушка, которую мы обогнали в лесу. Подойдя к нам, она вдруг произнесла, обращаясь ко мне:

– Здравствуйте, Юра!..

Хохот, который раздался вокруг меня, мне редко приходилось слышать. Чухонцев торжествовал: – Ночью! В глухом лесу! И такое подтверждение его словам!

Оказалось, что моя московская приятельница, художница Таня Большакова проводила свой отпуск в Ликани, в этом самом доме отдыха, куда по большому благу ее устроил будущий ее жених Нодар Махарадзе.

Но на всю поездку моя репутация была испорчена.

Если бы тогда кто-нибудь сказал мне, что один из популярнейших каналов нашего ТВ будет вести свое название от имени приятельницы нашей молодости Ирки Лесневской, я бы расхохотался. И все бы расхохотались, все, кто бывал на наших сборищах в Клубе творческой молодежи или ездил в тогда еще немодную, а ныне уже немодную Пицунду, Пицунду до ее роскошных корпусов.

Конечно, Ирэна или Рена, в телевизионной транскрипции, была тогда совсем девочкой. Но совершенно неумный, раскрепощенный до полной непредсказуемости нрав ее ничего подобного не предсказывал. Проскакать по Пицунде на перепуганном неожиданной амазонкой ишаке – это хлебом не корми!

В Пицунде тем летом жила большая московская компания, нищая и веселая. Ела она один раз в день в столовой, называемой «Волна». Там был прилавок, вдоль которого в обеденное время выстраивалась длинная очередь голодных отдыхающих. На раздаче стоял флегматичный молодой грузин. Звали его Звиад. Глаза его, обыкновенно, были подняты к небу, а руки вслепую, но очень точно выкидывали в железные миски, подаваемые из очереди, одинаковые порции макарон по-флотски. Еда была, прямо скажем, не грузинская. Но другой в ту пору в Пицунде не было.

Как-то Рена взяла у кого-то алую шерстяную майку. Майка была ей чуточку мала, но это оказалось к лучшему. Мы всей большой компанией встали в очередь к «Волне». Впереди – Ренка. Дойдя до Звиада, Рена чуть сдвинула миску вправо. Потом влево. Звиад опустил глаза, да так удачно, что взор его остановился на уровне Рениной груди, туго обтянутой алой тканью. Руки его замерли.

– Омари! – крикнул он. – Иди сюда!

Из кухни, вытирая руки, вышел Омари.

– Омари, ты только посмотри!

Омари посмотрел, поцокал восхищенно языком и ушел обратно, на кухню.

Очередь стала роптать на задержку. Звиад, который, по-моему, так и не обратил внимания на лицо той, кому принадлежала эта роскошная грудь, стал вдруг быстро-быстро кидать в Ренкину миску и в наши, подставляемые нами следом, макароны по-флотски, покуда Рена не сказала ему:

– Все, Звиад, это уже не наши...

Операция эта повторялась ежедневно.

Первое ошеломляющее впечатление от финской бани, с последующим погружением в ледяную прорубь, связано у меня с Булатом Окуджавой. Странно, южный, в общем, человек, с которым, помимо стихов, меня сближала общая любовь к поросенку по-имеретински... Я сейчас пишу и отчетливо понимаю, что пишу не то... Какой поросенок, какая финская баня!.. И не были мы с Булатом такими друзьями, совместный быт которых мог бы приоткрыть что-то в этом человеке. Ну, жили в одном номере в Кутаиси и – в соседних, в Доме творчества писателей в Дубулты. Может быть, это называется – добрые приятели.

Но я и приятелем Окуджавы себя назвать не решусь. У меня есть такая строчка: «Я люблю народных героев ненавязчиво, издалека». Это правда. Окуджава стал бытом страны, когда я еще поигрывал в волейбол, задолго до того, как я смог считать себя профессиональным автором. Я любил его преданно, но – издали. И сейчас, когда я встречаю на Арбате его памятник, у меня возникает странное чувство, что он хочет напомнить мне, как мы жили с ним в кутаисской гостинице, и он, памятник, увез с собой принадлежащую мне мыльницу...

Конфронтация между литераторами в восьмидесятые годы выглядела, временами, забавно. В Кутаиси мы ждали самолет, который, по какой-то причине, задерживался. Делегация писателей, где были люди самых разных убеждений – от Окуджавы до Сафронова, – коротала время в охотничьем домике.

Наш любимый поросенок по-имеретински с ткемали был уже съеден. Кто-то заставил Булата взять гитару. И он около горящего камина негромко пел. Постепенно почти все присутствующие перекочевали к камину. И только твердокаменные «правые», как они тогда назывались, то есть люди журналов «Октябрь», «Москва», «Огонек», изображая оживленную беседу, старались не слышать этого новомодного соблазна, объявленного пошлостью на всю страну. И только жена Сафронова, красавица Эвелина, металась от одной группы к другой, мучительно пытаясь объединить оба лагеря, чем была похожа на либеральную верхушку коммунистической партии времен оттепели.

Не знаю поэта, более честного в отношениях со словом, чем Олег Чухонцев. В его стихах нагружена смыслом каждая запятая.

...В Чухонцеве происходит вечная борьба критериев. Однажды в Тбилиси во время застолья он говорил тост, во время которого увлекся сравнением достоинств разных поэтов. Это выглядело примерно так:

– Лермонтов, конечно, великий поэт. Но что такое Лермонтов по сравнению с Тютчевым? У Тютчева пластика, которая никому не снилась... Но если сравнивать Тютчева и, к примеру, Шелли, то выходит, что Тютчев не так уж и велик. Потому что Шелли действительно фигура уникальная... Хотя если сравнивать его с Китсом, то он просто никто... Но что такое Китс? Если брать чистое дарование, то он Лермонтову в подметки не годится!..

Грузинские наши собутыльники, мучительно следя за мыслью говоряще-

го, согласно кивали головами:

– Да... Да... Это правда...

Я учил Фазиля Искандера играть в настольный теннис, в который сам тогда умел играть.

Мы были молоды, азартны. В Пицунде цвели розы, бульденеж, глициния. Море колотило в берег, как из пушки.

Фазиль, только что почувствовавший что кое-что у него получается, отскочил от стола чуть не на пять метров и, отражая удары, кричал сам себе:

– Держись, перс!

Оказывается, он перс по отцу.

Господи, ведь только вчера это было...

Когда при Илье Дадашидзе кто-нибудь начинал говорить о своих, порой совершенно неразрешимых, проблемах, я уже знал, что сейчас будет. Илья скажет: «Так! Сейчас я позвоню туда-то тому-то. Он отвечает за то-то в таком-то представительном органе», – и, непререкаемым тоном отвергнув все возможные возражения, кинется к телефону. Самое интересное, что этот его порыв, кажущийся наивным прекраснодушием, очень часто оказывался единственно возможным решением. И как он тогда радовался!

Он так любил помогать людям, что иногда мне казалось: сама неразрешимость проблемы бодрит его, будит в нем боевой дух, и он самозабвенно бросается в схватку, вцепляясь во власть предрежащего со странной ухваткой интеллигентного бульдога, который не отпустит жертву, пока не добьется своего. Это его качество было особенно неожиданно в человеке академической внешности, то и дело перемежавшего бытовую речь поэтическими шедеврами русского Серебряного века, в который он был влюблен и который знал как, может быть, никто другой.

Во время своего довольно частого пребывания у меня в качестве недельного, а то и более гостя; он вообще любил появляться в комнате с чтением какого-нибудь, чаще всего малоизвестного стихотворения, не имеющего абсолютно никакого отношения к тому, что до того происходило в доме. Любил спрашивать, чьи это стихи, то ли удовлетворенно, то ли виновато умолкая, когда я раздраженно отвечал, что не знаю.

Я всегда жалел, что Илья практически бросил писать стихи с тех пор, как занялся журналистикой. Мне всегда казалось, что стихам, если уж человек пишет их на таком уровне, как делал это Илья, ничто не может помешать. Но я, видимо, плохо представлял себе ту страсть, с которой он кинулся в журналистику. Каюсь, некоторое время я находился, если так можно выразиться, в оппозиции к этому его занятию, потому что считал: дело Ильи Дадашидзе – собственно поэзия или, может быть, поэтический перевод, и ничто другое. Почти никогда не слушая радио, я не имею права судить о журналистской работе Ильи, но его постоянные слушатели, среди которых немало моих друзей, крайне привередливо относящихся именно к мастерству журналиста, к моей радости (не совсем, впрочем, свободной от

ревнивого чувства стихотворца, теряющего товарища по цеху), говорили о репортажах Дадашидзе как о высоких образцах этого трудного жанра. Его журналистское имя – я убеждался в этом не раз – было очень популярно и вызывало доверие у людей, очень разных по своим общественным и эстетическим взглядам.

Он вообще способен был нравиться людям, во всем остальном расходившимся. При мягкой манере спорить он способен был упрямо доказывать свое, иногда расходясь в позициях со своим ближайшим окружением... Именно он сделал многое для практического спасения нескольких армянских семей и помог им уехать из Баку в самое страшное время этого дикого противостояния.

Чаще всего мы говорили с ним о стихах. Я вообще мало с кем говорю о поэзии, а вот с ним это было постоянно. Он уже давно не писал сам и на мои вопросы, когда он вернется к стихам, довольно решительно отвечал, что никогда. Но интересоваться теми, кто пишет стихи, продолжал активно и то и дело обращался ко мне с просьбой о рекомендации того или иного молодого автора в писательскую организацию, как правило, иллюстрируя состоятельность своей просьбы чтением наизусть нескольких строф поэта, за которого ратовал. Всегда строфы были интересными.

Его поэтический вкус был безукоризнен, но это был тот случай, когда хотелось, чтобы вкус знал свое место и не был бы столь деспотичным.

Любимым поэтом Ильи Дадашидзе был Осип Манделштам. Из ныне работающих мастеров он очень высоко ценил Беллу Ахмадулину и Олега Чухонцева. Многое нравилось ему у Евгения Рейна. Если говорить о тогда еще молодых, то я часто слышал от него имена Фанайловой и Кековой. Соглашаясь с ним в оценках и той и другой поэтессы я в других случаях – иногда, каюсь, из духа противоречия, – спорил с ним из-за его нежелания признавать достоинства некоторых других новых авторов, обвиняя Илью в излишнем академизме, литературности. Иногда спор достигал определенного накала. Но браниться с ним было невозможно, потому что в самый разгар баталии он вдруг говорил:

– Это все ерунда... Я тебя очень люблю... И давай выпьем.

Что мы и делали.

Застолье для Ильи, человека с Кавказа, было частью ритуала и возможностью сказать то, чего в других обстоятельствах не скажешь. Он любил крепкие напитки и хорошее вино и иногда слегка перебарщивал. Но никогда и никто не видел его расхристанным, пьяно-агрессивным или несвязно болтающим. Он был интеллигентом во всем, в том числе и в застолье.

Илюша был человеком больным, но при этом определенно веселым. И, как истый бакинец, чрезвычайно склонным к розыгрышам. Выслушав рассказ известного тбилисского литератора Марка Златкина об успехах его внука, обучающихся игре на флейте, он заинтересованно произнес:

– А как на этой штуке играют? Дайте-ка попробовать!..

Долго и неумело пристраивал «эту штуку» к губам, а затем бегло сыграл какую-то классическую пьесу. Обомлевший Марк Абрамович начал тут же вопить на своих внука, ничего подобного в ту пору еще не умевших и, стало быть, зря расходующих родительские нервы и средства, тогда как

любой впервые взявший в руки «эту штуку» уже может на ней вполне прилично играть. Илюшка, кончивший несколько курсов консерватории именно по классу флейты, был очень доволен розыгрышем. Пробовал он и меня разыграть. Дело в том, что он попросил меня научить его играть в теннис, тогда еще здоровье позволяло ему выйти на корт. Пары уроков хватило мне на то, чтобы понять: Маккинроя из него не выйдет. Но через пару лет я оказался в Тбилиси по каким-то литературным делам. Там в это время проходило командное первенство Союза по теннису. И когда я случайно встретил Илью, жившего в той же гостинице, где и приезжие теннисисты, и спросил его, что он тут делает, он без промедления сообщил мне, что приехал играть за азербайджанскую команду в миксте – в паре с восходящей бакинской звездочкой Спиридоновой. Я достаточно хорошо разбирался в теннисе, чтобы понять, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но, видимо, его уверенный тон был уж настолько уверенным, что ему помстилось в моих глазах секундное сомнение, которым он потом меня дразнил долгие годы.

Одна старая жительница Баку как-то сказала мне: «Бакинец – это была такая национальность...». Вспоминая об Илюше, я, кажется, понимаю, что она хотела сказать.

Доперестроечный Баку – это город, в котором национальные культуры империи перемешивались и проникали друг в друга, как, может, ни в каком другом. Люди, которых сегодня назвали бы русскоязычными: азербайджанцы, армяне, евреи, – владели всем богатством русского словарного запаса, говоря при этом с легким тюркским акцентом, не хуже, чем штамп в паспорте, свидетельствующим о месте рождения. Илюша очень чтил свои сванские корни, фамилию свою производил от княжеского рода Дадашкелиани, владетелей Сванетии, нес в себе и еврейскую кровь матери, много работал над переводами азербайджанских поэтов, был влюблен в Тбилиси и в живших там людей... Он читал наизусть чуть ли не всех известных мне поэтов Серебряного века... Несомненно, его национальность была – бакинец.

Обладая отличным слухом, говорил он, как говорят все русские высокоинтеллектуальные люди. Но два слова ему не давались. Вводное слово «значит» у него звучало как «значить», что производило при его профессорской внешности некоторый неожиданный эффект. А слово «пиджак» ни за какие коврижки не мог произнести с твердым, – какое тому и положено, – «д». У него, как у большинства «лиц кавказской национальности», даже и не тюрков, получалось таким образом – «пидьжак». Другое произношение казалось ему грубым и дискредитирующим такой важный предмет одежды. Он вообще был франт и очень следил за своим гардеробом.

Любовь Ильи Дадашидзе к некоторым из своих друзей доходила до почти религиозного обожания. Он не стал бы слушать никаких самых безобидных критических замечаний в их адрес. И наоборот, если бы кто-то непременно захотел добиться дружеского расположения Ильи, ему достаточно было бы произнести с любовью или симпатией любое из следующих, например, имен: Гия Маргвелашвили, Шура Цыбулевский, Белла Ахмадулина, Олег Чухонцев. Про людей, ему не нравящихся, ты мог говорить что угодно, но свою точку зрения на них, на моей памяти, он не менял.

Он вообще был по-хорошему консервативен.

Иногда совершенно неожиданно в Илюшке просыпался спортивный дух. Он появлялся на пороге комнаты с боевым кличем (что-то вроде «Леопольд, подлый трус, выходи!») и требовал немедленной партии в шахматы или в нарды. Всегда проигрывал, притом что я небольшой мастер в этих играх. Но, вставая из-за доски, непременно произносил что-либо крайне уничижительное о моих возможностях и обещание в следующий раз непременно воплотить в победу те гениальные комбинации, которые он и сейчас осуществил бы, да вот где-то что-то зевнул... Вообще проигрывал он всегда очень весело и о проигрышах не помнил, благо играли не на деньги.

Илья верил в то, что поэтическое слово после того, как оно произнесено, начинает жить самостоятельной жизнью и ведет себя порой очень жестоко, не щадя и произнесшего его поэта. Вот как он писал об этом в своей единственной книжке:

Страшусь в стихах пророчеств роковых,
Трагических предчувствий между строчек,
К своей судьбе не примеряю их...
Поэзия не ведает отсрочек:
Все, что рифмуя выведет рука,
Сбывается поспешно и жестоко –
Разлука, одиночество, тоска,
Вдовство, потеря близких, смерть до срока.

Но он был – поэт, и потому даже страх не мог удержать его от печальных проговорок, говорящих о том, что у него хватает мужества не рассчитывать на долгую жизнь:

Уже и мой удел отныне
Исчислен, взвешен, разделен.

Он вообще был человеком мужественным и не закрывающим глаза, что бы там, впереди, ни маячило.

Я не знаю никого, кто бы в такой мере был ответствен за свою жену и дочь, как Илья Дадашидзе. Это была не только традиционная любовь человека кавказских традиций к своей семье. Это было очень мужское осознание себя как защитника, который может быть счастлив лишь в том случае, если счастливы те, кого он любит и защищает. За ним – как за каменной стеной. Мало к кому это выражение подходило так, как подходило оно к этому хрупкому интеллигенту.

Илюша был моим крестным отцом. Когда он поздравлял меня с моим невеселым юбилеем, то сказал, что, поскольку грехи крестного сына все равно ложатся на плечи крестного родителя, то я могу грешить и дальше. Это была шутка, в которой между тем была выражена вся верность и все великодушие его дружбы.

Забуть ее невозможно.

«Я, КОГО ХОТЕЛ ОБНЯТЬ, ОБНИМУ...»

Стихи о Грузии



Так неожидан был и нов
акцент тбилисских воробьев.
В сомненьи: что за птица? —
я наблюдал черты страны,
где лица женские скромны,
горды мужские лица.

Я направлялся по утрам
к углу, где Кошуэтский храм
с грузинкою-мадонной.
Во всем вокруг сквозила страсть:
не свет — а блеск, не цвет — а масть,
не тень — провал бездонный.

Но все смягчал хозяйский клан,
к полудню предлагавший план
поистине духовный.
Шел жаркий спор: когда-куда,
пока не гаркнет тамада
свой приговор верховный.

И каждый раз меня всего
кидало в дрожь от одного
незначашего факта,
ведь вот безделица, мура,
и знаю сам: забыть пора,
да не выходит как-то.

Всяк тот, кто, следуя добру,
меня водил, как ко двору,
к высокой кисти, иль перу,
иль к их родне, тем паче, —
служил творцам, как верный Сид,
весь дух свой вкладывал в их быт,
но Тициан, Ладо, Давид
их звал — и не иначе.

Какой-то в этом был ответ.
Живет без отчества поэт
(не всякий раз, но часто),

порой кому-то подчинен,
но никому на свете он
зато уж не начальство!

ВИД НА ТБИЛИСИ С ГОРЫ МТАЦМИНДА

Когда уже Мама-Давид
меня забыл в пыли дорожной,
то я не так смотрел на вид,
как слушал звук какой-то сложный.

Едва он снизу добегал,
я различал, клянусь ушами,
как пел гудок, шипел мангал,
лилось вино, плащи шуршали.

Не понимаю почему, но я
в вечернем этом граде
почуял вдруг, как гость в дому,
что дом хорош не гостя ради.

Все в норме: грешники грешат,
творцы творят, враги враждуют,
герои подвиги вершат,
когда лентяи в ус не дуют.

Так отчего же дураком
Стою – и вдоха не хватает,
и в горле то растает ком,
то будто снова вырастает?

Молчит Мтацминда. С этих плеч,
наверно, шепотом иль криком
я должен что-нибудь изречь,
покаяться в чем-нибудь великом,

Но ей со мной не повезло:
она гора и мне не ровня.
...Из города идет тепло,
как будто там, внизу, жаровня.

ТБИЛИССКИЙ ГАЛАНТЕРЕЙЩИК

Тбилисский полдень, влажный, душный...
Галантерейщик равнодушный
на метре меряет тесьму
и неподвластен никому.

Весь круг Майдана, круг скудельный,
где прочен запах москательный,
он как не видит, оттого,
что зряч духовный взор его.

У кошельков – фасон дикарский;
портреты – Юрский и Боярский.
Но жест торговца вял и прост,
когда снимает с полки звезд.

Часы его породы «Сейка»,
чай, не простая нержавейка.
Но он глядит, – сырой, большой, –
и мир вещей ему – чужой.

Его ремень уполз на чресла.
О, господи, как интересно,
что, что он думает «себе»
о жизни, смерти и судьбе?

Каким он знанием насыщен?
Быть может, все, чего мы ищем, –
все уместилось целиком
под этим мощным козырьком?

Не то зачем в раздумье тяжком
он так небрежен к ниткам, пряжкам
и вот уж сорок лет сердит
на то, что отвлекает быт.

СТАРЫЙ ТБИЛИСИ

На полупущенном баллоне
земли телавской белый след.
Цыганок пестрые болоньи...
Армянской церкви силуэт...

– Купи цветок для милой Тани! –
Старуха с розами кричит.

Куплю цветок для милой Тани –
авось, позволит мне кредит.

Цыганок пестрые болоньи...
Шопен на верхнем этаже...
Ей-богу, в этом Вавилоне
и место мировой душе.

Ведь надо всем царит огласка,
и все ж сливаются в одно
грузинки траурная краска,
курдянки желтое пятно.

И я на сладостном Майдане,
еще горячем к октябрю,
куплю цветок для милой Тани
и старой Лейле подарю.

Голубых резных балконов кавардак...
Век спускает свой последний четвертак...
Ветер над Харлухи.
Сложный запах: кожа, пыль, тархун, бензин...
Перламутровый вползает лимузин
по булыжнику – туда,
где апрельская звезда,
да она, колючая, не в духе.

Да она сверкнет – и в облако опять,
Третий год, как не могу ее достать, –
космос изменился?
Или возраст, надвигаясь ледничком,
норовит свалить хоть навзничь, хоть ничком?
Или, враг своей судьбе,
ствол рублю не по себе:
кабы знал – давно бы извинился.

Что за глупости! Нет, возраст мой хорош
тем, что цель давно не ставлю я ни в грош, –
только путь мне дорог!
Только тень вблизи обочины сухой,
след предшественника, древний и глухой,
ярость псов, тоска овец
и свобода наконец
в двадцать – петь, и петь и плакать – в сорок.

В поколении моем и дураки
 плохи разумом, но духом высоки –
 помнят, что видали.
 Нам обняться бы да хлопнуть по плечу,
 да все распри позабыть. Но не хочу!
 Нет, на разные холмы
 слезы льем они и мы:
 будет мир – согласие едва ли.

То-то. Нету умиления во мне.
 Просто есть свои друзья в своей стране –
 дай им бог удачи...
 над Харпухи снова звездочка видна.
 Лимузин свернул. А нам стезя одна:
 по булыжнику – наверх
 с упованием на век
 и на бог весть что... А как иначе?..

ОБЪЯСНЕНИЕ С ТИФЛИСОМ

Удержусь от слова – не от жеста,
 дотянусь до свежего листа.
 Ах, какое все-таки блаженство –
 возвращаться в милые места!

На балконе иверском высоком
 изучать без нужды и не впрок
 дивный кавардак тифлисских окон –
 их письмо, не знающее строк.

Вот проснусь от дружеского клика,
 и опять – в огне Мама-Давид:
 Это тихо, розово и дико
 дерево иудино горит.

А внизу со скрипом окаянным
 мчат авто, и все – на свой манер,
 и скворцом в скворешнике стеклянном
 над толпой живет милиционер.

И, как встарь, на женские колени
 со скамьи взирает тяжело,
 полон темперамента и лени,
 замерший со щетками Ило.

Пластика юнцов, идущих мимо,
 спор старушек – все это одна
 гениальнейшая пантомима
 в странной режиссуре болтуна.

И душой, являемой не сразу,
северной, медлительной душой,
вдруг прижмусь я к тесному Кавказу
к толкотне — неужто же чужой?

Посули мне, сдержанность, удачу.
Но, слова от жестов оградив,
все равно ведь плачу, снова плачу
на хевсурский давешний мотив.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДАИСИ

Даиси — сумерки (груз.)

Вздыбленный проулок. Сумасшедшая икона
смотрит темным взором в неглубокое окно.
Голубое дерево тбилисского балкона
язычками перца вдоль перил опалено.

Здравствуй, свадьба курдская, звени-бренчи на таре,
дай увидеть счастье да скорее отпусти:
аль за желтой речкою в высоком Авлабаре
улучки сосчитаны, не спутаны пути?

Где же наша молодость? Да здесь же, за горами.
Волей честной памяти средь честной суеты
прошлого, как дьявол, заключенный в пентаграмме,
все никак не вырвется из городской черты.

Все поет в подвальчике лудильщик или медник,
все поет, все жалится, все просит побережь
огненный балкончатый певучий заповедник
диких и непуганых и незабытых встреч...
Имена ли, даты ли и — да свершится! — лица
синий свет даиси к воскрешению воззвал.
Розовеет в сумраке кривая черепица,
вот забрезжил в комнате хевсурский твой овал!..

Но и смерть немислима, и жизнь неповторима...
Мальчик моментальный, проносящий в дом лаваш,
забери и взгляд свой, и меня, и запах дыма
в дальний вечер, твой еще — давно уже не наш.

И тогда на улочке, даст бог, такой же тесной,

в незнакомой памяти, в неизвестный миг,
в час даиси пристальный я, может быть, воскресну...
Дай нам Боже, мальчик мой, дай нам Бог, старик!

СОВЕТЫ ДРУГУ, ЕДУЩЕМУ СО МНОЙ В КАХЕТИЮ

Не дела ради — для потехи
дави, ямщик, свою педаль.
Сигнахи, Цнори, Лагодехи —
вся эта невидаль — не даль.

Нас встретят пышно, не по чину
в крутом старинном городке.
Как опустить на стол чинчину,
когда весь смысл ее — в глотке?

Когда мы искренне и длинно
друг другу выразим любовь
и Алазанская долина
нам вновь нальет — не прекословь.

В шершавом смугленьком кувшине
своя загадка. Ну так что ж...
Не прекословь один раз в жизни:
не потеряешь — обретишь!

Пусть видят все: ножа не точишь
зарок не переходит в спесь.
Ну, откажись потом где хочешь,
но не отказывайся здесь.

Пусть тяжело, но не оробело
твой в тамаду упрется взор:
ты в Картли, в Картли, в Сакартвело —
не обрекай нас на позор.

Уже берут разгон для пенья —
ведь ночь не вся! и страсть не вся! —
в порыве самоупоенья
приобретенные друзья!

Поющий вечно юн и холост,
так на ответственность мою
отдайте мне девятый голос:
я не испорчу — я спою!

А ты молчи еще покуда
и трезво про себя заметь:
какая тихая посуда —
и легче пить, и легче петь.

Пленившись речью золотою,
почти достойной алтаря,
скажи: — Хоть солнце за горою,
не за горами и заря!..

Но радость дружеского круга,
Ей-ей, сильнее во сто раз,
Чем боль ничтожного недуга,
К утру проснувшегося в нас.

Виден торец дворца,
белой стены пыльца,
четкая ветвь айвы,
черный поскок скворца...

Празднество в феврале,
пиршество на столе:
сыты и дрозд, и кот —
равенство на земле!

Много ли прока в том,
чтоб над пустым листом
вылиться через край
и оскудеть потом?

Но хоть душа пуста —
это же неспроста.
Райская благодать!
Дьявольские места!

В эти края попасть —
будто в паучью снасть.
Кровь им отдашь — молчат.
Как равнодушна страсть!

Вечно теки, арык.
Вечно расти, урюк.
Молодость не прошла,
только любви — каюк!

Только не пей до дна
иверского вина.
Благодарю судьбу;
яви не надо сна!

ДОЛИНА АРАГВЫ

Апрельский снег в Пасанаури.
Свежо и сыро.
Вся прелесть мира
сказалась в призрачной натуре,
и все вокруг бесплотно, кроме
вина и сыра.

Окно в далеком пшавском доме.
И схлест с разбега
травы и снега
на вечеряющем подъеме.
И берег, явленный мне в детстве
под видом «брега».

Опальных классиков наследство —
покой, но воля!..
Рыча и воя,
Арагва мчит — ее соседство
такое средство от тирана
и от конвоя!..

Не старость, но ничто не рано;
ни стать поэтом,
ни внять советам
из библии или корана,
ни зарыдать над смертной долей —
зачем об этом?..

Апрельский снег в Арагвском доме.
Безмолвно, пусто.
И ты, искусство,
бессильно мир явить — доколе?
Вздыхайся, грудь, до боли в ребрах,
почти до хруста!

Покой! Да ведь покой — не отдых.
Прости, эпоха,
но жажды вздоха
достанет и на смертных одрах,

О мир травы, сирени, маков,
чертополоха!..

Айда на водопад:
но нет, не для форели –
для давешней свирели,
играющей давно,
айда на водопад!
В ней слышится одно –
давнишняя обида:
Колхида, ах, Колхида,
далеко ль до звезды,
а где твое руно?
Свирельные лады
чисты, но оробелы –
вечерней «изабеллы»
невнятной и темней
за грохотом воды.
От крон и до корней
пропитана природа
сырым лучом захода –
пейзаж античных ссор
почти не явлен в ней.

Сванский напев начинает полет.
Будем же счастливы, будем!
Птица не плачет. А волк не поет.
Вот что даровано людям!

Может быть, в сонмище диких планет,
тлеющих сизо, багрово,
мы, только мы и открыли секрет
смеха и вольного слова.

Может быть, этот вот голос шестой,
явственный, но и согласный,
только и властен промолвить «Постой!»
около бездны безгласной.

НОЧЬ НА БЕРЕГУ МОРЯ

Тяжелые всплески несутся в окно –
так мокрое бьет по воде полотно.

Там полночь и быт непонятный ее:
вселенская прачка стирает белье.

Сияние пены чуть брезжит сквозь мрак.
Пищит нетопырь, полуночный дурак.

И кем-то, кто чувствует шелест и звон,
срифмованы вслух окончания волн.

И слово за словом, все тщась — об ином,
Застыло в бессильном объятьи ночном.

Безумье и мудрость, сливаясь в одно,
становятся ночью и веют в окно.

И счастье вдохнув, выдыхаешь печаль.
Но жалко любви. А любимой не жаль.

Мы счастливы оба, всерьез и вполне:
я — въявь, а она — наяву и во сне.

Кого тут жалеть? Я не помню беды
над чудом общенья земли и воды.

Жизнь — самозабвенье, а не забытье...
Вселенская прачка стирает белье.

И тихим созвездьем не первой руки
в ночном тамариске горят светляки.

Мелкая галька за пирсом гремуча в ночи,
словно включен микрофон.
Море мерцает, но слабо, в четыре свечи.
Зря ты надела шифон.
Зря. Этот легкий беспечный наряд продувной
ночью не виден почти.
Светлые ноги колышутся передо мной
в длинном прибрежном пути.

Слева от моря какой-то реликтовый хвощ
тянется в полуверсте.
И золотой ветерок мандариновых рощ
вдруг пролетит в темноте.
Чувственный мир, завлекая, светясь и звеня,
благодаря, дрожа,
все продолжает охоту свою на меня.
Я же и так не ханжа.

Я же и так угнетал терпеливый свой дух
 нуждами плоти. И что ж?
 Если верны обоняние, зрение, слух,
 что же сегодня ты ждешь?..
 Но никакого ответа не будет во тьме.
 Только во мраке сыром
 кто-то с воды на невидимой тихой корме
 слабым мигнет фонарем.

Где уж мне, счастливому, про счастье!
 Только поздоровался – прощайся.
 Экая
 далекая
 неверная стезя!
 Кахетинский камень – на рассвете,
 на закате – сваи в Имерети.
 Замер
 «Мравалжамиер» –
 без музыки нельзя!
 Без нее и плакать не стыдимся,
 и перед дорогою садимся –
 вечную
 неточную
 приметку соблюсти.
 Это было между мной и вами...
 Музыки! Что выразишь словами?
 Явлено.
 И – кончено!
 И с места не сойти!

Прощайте, горы, здравствуй, берег!
 Языческий колхидский вид.
 Рычат Кура, Арагва, Терек,
 а море знает, но молчит.

Вечернее открытие мира.
 Большая древняя вода.
 Сухой бесплодный сук инжира –
 он был смоковницей тогда.

Когда прощались, так свистали птицы,
 так лист дрожал и так журчал ручей,
 и так хозяйка вскинула ресницы,
 что обошлось без песен и речей.

Когда прощались, было столько смеха,
так ловко говорилось о былом,
что дикое неприбранное эхо
там и доныне бродит бобылем.

Висело над беседой сокровенной
прозрачное стрижиное витье.
Казалось нам: мы дороги Вселенной –
таких других не будет у нее!

Когда прощались, так душа касалась
того, кто не вернется никогда,
что вдруг открылось или показалось:
а может, умереть и не беда...

ТОСТ

Полно, братцы! Или ждать нам петуха?
Или ветвь на вольном дереве суха?
Бросьте,
старость, чай, не в гости...
Каплю правды в каждом тосте!
Врать за рюмкой – нету большего греха.

То, что было, – продолжает волновать.
То, что будет, – дай нам бог не прозевать,
Вкратце:
мы – живые, братцы,
для чего нам разбираться,
чьей кукушке дольше прочих куковать?

Только будет Новый год под новый век –
Так и вижу этот крупный новый снег.
Вона:
в царстве смеха, звона
через площадь два балкона,
и на каждом – наш, старинный, человек.

Вышли в лоджию, пока галдит семья,
постояли, оперевшись о края...
Жалость,
там, в двадцатом, малость –
жизнь последняя осталась,
эх!.. И снова – пить за други за своя...

Знаю, знаю, во пиру печаль не впрок.
 Да ведь будет ли другой-то вечерок?
 Ладно,
 правду врать нескладно.
 Самому, ей-ей, отрадно,
 что счастливого не учит и урок.

За счастливцев! За находки средь потерь!
 Заведем такую песенку теперь!
 С трелью
 заведем под елью –
 ту, про буйвола с форелью, –
 что за песня! Где балкон? Закройте дверь.

ПОСОШОК

Раздайся, дружеский кружок,
 возницу внутрь пусти.
 Еще не друг, уже дружок,
 он прячет ключ в горсти.
 Он передвинет рычажок,
 и – Грузия, прости!
 Кто знает, что нас ждет в пути –
 налей на посошок!..
 Неповторим сентябрьский сад,
 где над землей парим,
 банальный проводов обряд,
 клянусь, неповторим!
 И византийской песни лад,
 и грозди синий дым
 так грустно вняты молодым,
 а старому – стократ.
 Да! Рдеет клен – живой ожог:
 такая сушь была!
 Да! Злой языческий божок
 явился из ствола...
 Сирена – путевой рожок –
 зовет из-за угла.
 Обнимемся! Не помни зла.
 Налей на посошок!

ВОЗВРАЩЕНИЕ АККОРДЕОНА

Перламутровый божок далеких дней,
 еле слышно он вздохнул,
 потом слышной.

Время оно
 забродило – там, в мехах аккордеона.

Эти чары
означают отступление гитары.
В этом ретро –
отзвук ветра вдоль военного перрона.
Это – юности музыка.
Неужели мы так стары?!

Неужели, неужели
у Тенгиза Абашели
патефон трофейный сломан,
в желтой ржавчине мембрана?
И Марго меня не бросит
для шахновской «Карусели»,
для тяжелых рук безбожных
фронтового ветерана!

Поздно... Сами – ветераны.
У самих рука – что камень.
Коль отпустят эту руку,
так – для юной, беззаботной.

Что ж, ответим и на это:
разведем без слов руками –
жест, не каждому доступный,
жест высокий, благородный...

Бегство нот из растворенного окна.
Сколько музыки!
А жизнь всего одна...

Легко о смерти говорить с грузином:
он с ней – как с древним треснувшим кувшином,
почтенна эта глина, но, видать,
ей вольного вина не удержать.
От невской или москворецкой влаги
во мне ни веры той, ни той отваги –
моя отвага не сильнее ума,
но смерть и мне сомнительна весьма.
Не оттого ли в кураже едином
опять о смерти говорим с грузином.
«Отдай нам всех!» – кричим мы ей, вольны,
и перед ней не чувствуем вины.

Мне нравится Дата Туташхиа, вольный абрек,
тут властью и злобой не выпачкан рыцарь протеста.
Люблю свое время за то, что догадлив мой век
и дикий рассудок задумал поставить на место.

Неужто и впрямь ничему возвращения нет?
Молись на природу, стремясь из обители душной.
Но что он хотел нам сказать, наш бесстрашный поэт,
когда так открыто природу назвал равнодушной?

Да там ли мы ищем? Да знаем ли сами себя?
Безумная ветка скрипит, и душа отвечает.
Душа! Я ль не жил, это слово вовек не любя,
в стихи не пуская. Но жизнь ради вкуса дичает.

Мы штампов боимся, и мы забываем слова.
Слова забываем, а с ними уходят понятия.
Люблю свое время за то, что не все трын-трава,
за злые молитвы его, за святые проклятья!

И к вечным характерам тяга уже не смешна.
И чья-то труба то начнет, то умолкнет тревожно.
И словно дрожит перед взором глухая стена,
а рухнет – и что там за ней – угадать невозможно...

Мне Цыбулевский говорил: – Взгляни,
в шесть вечера Тбилиси – просто чудо,
сошлись Багдад с Парижем, и они,
ей-ей, друг друга поняли не худо!..

С улыбкой, обращенной на закат,
неявно рыж, неочевидно хрупок,
он уверял меня, что женский взгляд
в толпе – уже отчаянный поступок.

Но строгие обычаи страны
как раз и учат вас, – когда вы зрячи, –
как вы лишь взглядом выразить должны,
что если бы!.. Ах, если б все иначе!..

Закатный час для вечных городов –
особенный. Сверкает грань заката,

чтобы приют всех болей, всех трудов
«когда-нибудь» не путал и «когда-то».

«Когда-нибудь»! А есть оно у нас?
Не спрашивай... Толпа вершит круженье.
И вот опять в ответе чьих-то глаз
не оправданье нам, так – утешенье.

Ничего не надо от стихов,
кроме беспощадности последней...
Это – тяжесть медных пятоков,
дань судьбе и жажде многолетней.

Жарко от горящего куста.
Жизнь темным-темна в прозрачном слове.
Резкие месхетские места.
Дальний хор. И вкус бараньей крови.

Как нам не любить наш вольный труд?
Высохнет река, иссохнут лица.
И строка – единственный сосуд,
где хоть капля влаги сохранится.

Ожиданьем душу веселя,
вечной славы ждет безумец. Эка!
Что такое «вечная Земля»?
Комплимент Земле от человека.

Если во вселенной без Земли
сохранится мысль и капля чести,
кто-нибудь и вспомнит нас вдали,
да не поименно. Всех и вместе!

Ибо с первых дней и до конца
жизнь лишь тем вершилась на планете,
что в ответе зрячий за слепца,
праведник за грешника в ответе.

За что обидел, Шалико?
Я с вами и доныне.

Друг друга нам понять легко:
 у нас одни святыни.
 Вчера — и подмосковный мрак,
 и дождь, и пересуды,
 а Тициан и Пастернак
 смеются у запруды...
 В лесах словесности родной
 не всяк пернатый дивен.
 Приятно мне, что недруг мой,
 он и тебе противен.
 И твой шарманочный куплет
 мне всюду слышен внятно,
 Ты счастлив? Да. Ты весел? Нет.
 А жизнь невероятна:
 она то пишет образа —
 совсем сестра искусства! —
 а то — замрут — глаза в глаза, —
 как кобра и мангуста.

Скрип ветки, птичий ли скандал,
 луна ль во Мцхета —
 не отнимай того, что дал, —
 безбожно это!
 Уж лучше б вовсе мне не знать
 кривой тропинки,
 несущей ввысь сухую стать
 имеретинки.
 Как жить, лишась того, чем жил?
 Скорблю о многом.
 Кто дал — тот бог. А кто лишил —
 тот был ли богом?
 Да! Да! Он трижды был творец
 в своей заботе:
 без скорби смертному конец
 и в здоровой плоти.
 Как он беспомощен, бодряк,
 не слыша эха,
 но чувствуя, что память — враг,
 что скорбь — помеха!
 А кто-то обретает власть,
 не зная втайне:
 благодарить или проклясть
 свое страданье.

СЧАСТЛИВЫЙ ВТОРНИК

Ни одобрения, ни наказания
не слышалось в предзимнем этом дне,
но обоняние и осязание,
как два божка, дарили счастье мне.

На тонких веточках давно – ни листика,
но сладко пахнет странный сад чужой.
Все то, что слышал я, – святая истина:
живи, пока есть тело за душой!

Но в душу вторгнется все то, что вижу я,
и эта яма с влагой по края –
усопших дождей могила рыжая
небось – на месте старого жилья.

Не отравляй же мне минуту чудную,
ее воды стоячая беда.
Уже беспечность я так редко чувствую,
и то – в поездках, в Грузии, когда,

козу бурдючную над чашей тиская,
стоит над нашей трапезой январь,
и деревенское имеретинское
горит, как мутный бешеный янтарь.

Уже друзей ценю, как ценят редкости,
немного предпочту говоруну.
Порой и лесть прошу охотней резкости,
порой и ложь не возведу в вину.

Но вот – вернулось же! Открыв все дочиста,
не муж, и не отец, а только – сын,
стою с приятелем – не знаю отчества –
под зимним солнцем, красным и косым.

Не суй мне адреса, не ври, что свидимся!
Что – вечный поиск вечного пера...
Спасибо вторнику: хороший выдался.
Чего ж еще. Пора, мой друг, пора!

С горы да под вечер – пути неведомы,
но раз и два и – горе не беда...
А за воротами, за привередами –
темна вода во облацех, среда...

ГОСТЬ ИЗ ГРУЗИИ

У мадьяр
и три года спустя
не смолкала веселая эта шумиха:
вспоминали грузинского гостя,
безумного витезя,
по имени Миха.

Как он ел!
Как он пил!
Как дарил всем вокруг дорогие подарки!
Как дрожали от любви и от страха
под очами его
удалые мадьярки!
Говорили,
что он задал пир,
от которого доныне хмельны в Эстергоме.
Говорили,
что тосты его
издают в Будапеште в отдельном
с застешками томе.

И – как будто – желанья свои выражать
запрещалось при нем
непреложно и строго,
ибо
тотчас он их выполнял,
так как было в нем что-то от бога.

Из хозяев никто не бывал
на высокой и страстной
земле Карталинской,
но и так было ясно,
что люди ее –
с ненормальной какой-то душой исполинской:

ничего не берут,
все дают,
всех дарят непреклонно и щедро
и с счастливой улыбкой при этом
глядят
из-под старого фетра.

О неведомый Миха,
твою ль
не узнать мне повадку!
Ты свалился с небес,
а мадьярам сказали –
идешь на посадку.

Вот и пусть
вспоминают тебя,
восхищенно дивясь: что за жизнь!
что за мера! —
и в сомненьях на ощупь бредя,
улыбаясь догадке,
листают Гомера.

ЗАСТОЛЬНАЯ ЮЖНАЯ ПЕСЕНКА

Голубая сойка
на стволе самшита,
на стволе самшита...
Ах, вина-то сколько
проЛито-пролИто —
все шито-крыто!..
Хоть в давяльне больше
винограда нету,
нету винограда,
да у старой бочки
досидим до свету,
а больше не надо!
Не жалея посуду,
дорогие гости,
гости дорогие,
если хмурым буду,
чаши об пол бросьте
просите другие!
За столом нельстивым
ожидай не слова —
ожидай поступка.
Ах, к этим сливам
еще козырного
из отчего кубка!
Хоть в давяльне больше
винограда нету,
нету винограда,
да у новой бочки
досидим до лета,
а больше не надо!
Голубая сойка
на стволе самшита,
на стволе самшита...
Уф, вина-то сколько
выпито-налито —
все шито-крыто!

Розовыми прожилками светится мой инжир.
 Лето еще не все — половину зубов даю!
 Господи, да не Ты ли влюбил меня в этот мир —
 что же Твой клирик сердится так на любовь мою?

Я ж не одни подарки: брызги, лучи, плоды —
 принял с благодареньем, взор свой отворотив
 и от травы сожженной, и от гнилой воды,
 да и от гнуса, гнущащего гнусный, но свой мотив —

принял и эти хворости в крепкой натуре дня,
 где из прибоя древнего полчища Афродит
 утром выходят на берег, камни на дне кляня,
 и светлая соль океанская чуть на плечах блестит.

Но все это лишь подробности. И выразить не дано
 того, что нам всем отпущено для разума и души...
 Скажи, Ты и вправду сердись за бешеное вино,
 за злую счастливую девушку? Ну, не молчи, скажи!

Да будь оно вправду проклято это мое житье,
 если я жил без памяти, если умножил зло.
 А и того не хуже ли это мое нытье?..
 Лучше бы сесть мне в лодочку, лучше бы взять весло...

Когда помереть соберусь и я,
 пеняя на скудость тропы,
 «Была в твоей жизни Грузия!» —
 услышу из тихой толпы.
 И твердь, как балкон там, над Земмелем,
 повиснет, легка, голуба,
 как будто чиста перед семенем
 чудное растение — судьба.
 Знакомой комической вывеской
 встречай, неизвестность, меня:
 «Здес шасливы»...
 Воздух ты иверский, крылатая воркотня!..

КАБАЧОК «САЧАШНИКО»

Кабачок «Сачашнико»
 поперек пути во Мцхету.
 Будет очень нелегко
 колху, скифу или хетту
 миновать такой соблазн,

а уж, коль не миновали,
возвратиться с пьяных глаз
в исторические дали.

Так сидят, не суетясь,
возле синих волн бензина
колх, в абхаза превратясь,
скиф – в тебя, а хетт – в грузина.
Наступает мезозой,
возвратившийся по злобе –
спор с цицкайскою лозой
захлебнется на полслове.

Пролетайте, господа,
на узорчатых копытах.
Для таких, как вы, бурда
подается на саммитах.
Продолжайте шельмовство,
пожиратели налогов!
Никогда отцы народов
не родят нам ничего...

Никогда не пьют «клик»,
никогда не глушат виски
в кабачке «Сачашнико»
халды, готты и мориски –
пьют они от той лозы,
от которой жизнь дороже.
Разве это пьянка, Боже?
Это лишь Твои азы.

Ястреба неприкаянный тенорок,
кличущего кого-то из-под дождя.
Сам напугал стрижей, а теперь продрог,
вымок и, словно нищий, убог, хотя
когти все в перьях, клюв весь в крови. О, да,
бедный убийца отроду одинок.

Я их видал, убийц, в тесноте суда.
Помню, что дым какой-то у них в глазах.
В темный туман наречия «никогда»
спрятаны безразличие или страх.
Нет, не вернуть им мертвого. Не дано!
Разве, что в сны он вломится без стыда.

Ястребу же убийство разрешено.
 Что же до сновидений — какие сны,
 если, как золотое висит руно,
 над серебром дождя лоскуток луны,
 и для вечерних мыслей такой простор —
 ястреб ты или ласточка — все равно.

Перед набегом плавных абхазских гор
 берег и беззащитен, но и жесток...
 Что мне еще не выпало до сих пор,
 может, уж и не выпадет. Дай-то Бог!
 Призрачный хор мне чудится в тишине,
 мертвых друзей покуда согласный хор.

Что в этот вещий час загадать бы мне,
 братцы, покуда падает метеор?

Почему бы не выпить стопаря
 и немедленно не добавить по сто?
 Я не помню такого сентября.
 И никто его не помнит. Никто.
 Это эллинскую суть обнажил
 край, где ссорятся хохол и кацап
 так, что в тутовом саду старожил
 оскудел умом и верой ослаб.

Что же это за эпоха у нас:
 даже ведро, полагают, к войне.
 Ибо разве хуже Крым, чем Кавказ?
 А Кавказ-то нынче нам — лишь во сне...

Я не сливы, не айву, не хурму
 потерял с тобой, имперский распад.
 Я, кого хотел обнять, обниму
 после скрежета могильных лопат,
 после наших обоюдных кончин,
 если есть и впрямь тот свет, Высший Суд,
 и у Господа не будет причин
 разлучать нас так, как сделали тут...

СВЕТЛЯКИ

Пряным ветром упрямо ведомы и полночью пьяной,
 мы легко проходили сквозь строй камыша.
 Где-то там, за апацхой пустой, за подлунной поляной
 брел шалавый Язон, крупной галькой шурша.

А Медея покуда была среди нас и шалила
и не ведала скорой и грустной судьбы.
Ах, какая была в нас живая и глупая сила:
мы – хозяйева дней, а Медее – рабы.

Червячки, превращенные полночью в капельки света,
ликовали, во тьме камышовой кружась.
Это было... Да-да, это было последнее лето.
И последний Союз. И последняя связь
между колхом и скифом и мрачным от снов иудеем.
В удалых разговорах не видно ни зги.
Но не место идеям, когда мы согласно балдеем
на земле, для которой мы были – враги.

Разве я тебе враг, прокопченная солнцем старуха
над ведерком, где корчится рыба с утра?..
Но пока еще ночь, и пока еще мерно и глухо
бьет прибой, но ведь брызги не гасят костра.
Допивай же из плошки собачьей последнее виски.
Убывай, убывай в беспросветную мглу.
Это просверки лета последнего: искры и брызги,
светляки на последнем имперском балу.

Осень открыла военные действия, но
желтый кленовый десант в угловое окно –
это еще не всерьез, это пробный маневр.
Брось ты бренчать на синтетике свой до-минор.
Что отзвучало, опять возродить не резон.
Это последний в году и не лучший сезон.

Ты продолжаешь. Но разве не помнит рука:
черная клавиша – ре? – западает слегка.
Это способно испортить любимую вещь.
Брось эту муку, настойчивость стоит ли свеч?
Черную крышку захлопни – не то я уйду...
Это последний сезон в этом страшном году.

Музыки больше не слышит расстрелянный край.
Если ты хочешь и дальше играть, то играй.
С детства приученный к фальши, я принял судьбу.
Фальшь я прощу, но не в музыке. Это – табу.
Правда хоть в нотах нужна, чтоб не спать с ума...
Это последний сезон, за которым – зима.

С музыкой этой Сандро, гениальный амбал,
встал из-за клавиш и крышку закрыл, и упал.
Дружба народов закончилась. И кое-где

сносный уклад уступил кровожадной вражде.
Черная клавиша – ре? – дребезжит неспроста.
Это сезон, за которым есть жизнь. Но не та.

КРЕПОСТЬ АНАНУРИ

И.М.И.

Вновь Ананури, камень, который горит изнутри розовым светом.

Если бы снова влюбиться и долго любить, и никогда не признаться в этом!..

В узкой бойнице – столбик небес и мелькнувшая черная тихая птица...

Вот бы признаться и долго любить, и уже никогда ни в кого не влюбиться!..

Красный автобус проглотил и унес остатки крикливой туристской оравы.

Серое русло чересчур широко для зеленого тока Арагвы.

Но лишь безумец, не зная коня, надрывает без толку неживые поводья.

Богу угодны душа и река в год полнокровья и в час половодья.

Так ясно в пору первой листвы, в пору цветущих вишен, черешен,
что переступающий через любовь не перед ней – пред собою грешен,

так ясно у ананурской стены, что тот не судья, кто себя не судит.

Это в привычках народных святынь – становиться святынями личных судеб.

Потому что – куда нам еще, – куда? – в дни, когда все так нестойко, зыбко,
и нельзя не плакать, но плакать нельзя – останавливает каменная улыбка,

останавливает, завораживает, заставляет понять,

Что за вино в скудельном сосуде, который на камень
глядит в надежде,
что ничего не случится такого, чего бы уже
не случилось прежде?..

ИВЕРСКАЯ СТОРОНА
Переводы с грузинского



Николоз БАРАТАШВИЛИ

МЕРАНИ

Ты лети стрелой, наугад, сквозь мрак, мой Мерани!
Черный ворон злой предвещает крах градом брани.
Улетай вперед, ускорай полет обреченный,
кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы
черной!

Рассеки ветра, разорви дожди, мчи над скалами
 и над кручей,
 утоли мое нетерпение, время странствия сократи.
 Мчись, крылатый мой, улетай-лети,
 спеши под лучом и под тучей.
 Самого себя не жалея в пути, но и всадника
 не щади!
 Пусть отчизны мне не видать вовек,
 пусть друзей своих потеряю,
 пусть родных лишусь и любимую не увижу пусть
 никогда, —
 там, где мрак ночной, там и дом родной, только
 звездам я доверяю:
 лишь они одни знают, что со мной, им — и боль
 моя, и беда.
 Стон души больной, вздох любви былой — все
 в безумный
 бег прекрасный твой, да еще — в морской шум
 бездумный!

Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
 кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы
 черной!
 Пусть умру вдали от родной земли, средь родных
 могил пусть не лягу,
 пусть любимая не обмоет прах, не обронит плач
 скорбный свой.
 Ворон чернокрыл мне могилу рыл,
 не полям мой тлен, так – оврагу,
 только дикий вихрь вокруг костей моих заведет
 в ночи свист и вой.
 Вместо милых слез – лишь холодных рос
 на костях моих след печальный,
 вместо слов родных – крик орлов степных,
 отпевающих мертвеца.
 Мчись, Мерани мой, скорбный всадник твой
 мчит за грань судьбы изначальной,
 говорю тебе, я не раб судьбе, и такой уж я – до конца.
 Пусть в свой смертный срок буду одинок
 волей рока,
 но его рука не раба – врага бьет жестоко!
 Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
 кинь ветрам скорей ты всю страсть моей
 думы черной.
 Обречен ли я, – но душа моя дышит
 волею ненапрасной.
 О, Мерани мой, твой смертельный путь
 вспомнит кто-нибудь, и тогда –
 мой безвестный брат легче во сто крат
 повторит твой бег, бег опасный,
 и сквозь мрак судьбы вдоль твоей тропы
 конь промчит его без труда.
 Ты лети стрелой, наугад, сквозь мрак, мой Мерани!
 Черный ворон злой предвещает крах градом брани.
 Улетай вперед, ускоряй полет обреченный,
 кинь ветрам скорей ты всю страсть моей думы
 черной!

РАЗДУМЬЯ НА БЕРЕГУ КУРЫ

Грустя, обычно ухожу к реке. Она чиста.
 Ища покоя, нахожу знакомые места.
 Обласкан мягкой травой, сижу вдали от всех.
 Средь этой грусти вековой и погрузить не грех.
 Чуть бормоча, Кура бежит, ее прозрачен ход.
 В ее воде с утра дрожит прозрачный небосвод.

Облокотившись на траву, я превращаюсь в слух,
А взгляд уходит в синеву, где край небес потух.
Кура все видела сама: где истина, где ложь, —
Она не то, чтобы нема, а — слов не разберешь...
Кура! Зачем, не знаю сам, придя на этот свет,
Поверю ль я своим глазам: жизнь — суета сует...
Да, жизнь — мгновенный, тленный мир,
 неверный мир она.
Не бездна ль наша бытие — а в ней
 не сыщешь дна!
Где тот, кто жил, всего достиг и,
 жизнью унесен,
Доволен был бы в смертный миг, —
 где, спрашиваю, он?!
Владыки, баловни побед, которым нет преград —
У них в руках весь белый свет,
 иным сам черт не брат!
Но где, Кура, во все века ты встретила царя,
Который не роптал в душе, судьбу свою коря:
— Когда, когда же наконец Господь пошлет войну,
И заберу под свой венец еще одну страну?..
Но божьей воли долог срок, и царь, схватив копье,
Чужой земли захватит впрок,
 чтоб завтра лечь в нее.
И даже лучший из владык — ему покоя нет:
Достаточно ли он велик,
Чтоб жить в словах грядущих книг,
В молве грядущих лет?!

Все тщетно. Будь ты всех сильней
 и даже всех добрей.

Когда однажды рухнет мир,
 кто вспомнит про царей!

И, все-таки мы все одно: мы — люди на земле,
Лишь нам судить ее дано в ее добре и зле,
И сердцем знать и головой,
 что — яд ее, что — мед...
А жизнь не жизнь, когда живой
 уже при жизни мертв.

Галактион ТАБИДЗЕ

КРЕСТ ИЗ ЛОЗЫ

Гроздь виноградная. Крест из лозы.
Страждущей родины стон.
Сирой лозы две скупые слезы
В память кровавых времен.

Вечны и явны на ней имена —
 Знаки тоски и любви —
 То начертали на ней времена
 Тайные письма свои.

Днесь, когда черною тучей немой
 Скрыта родимая даль,
 Кто нам откроет: надежде самой
 Жизнь среди нас суждена ль?

Как в этот раз запоем под свинцом,
 Пулей пробита насквозь,
 Высеченная из камня творцом
 Тысячелетняя гроздь?!

ЛАВР

Сложный, древний запах лета
 В ветерки вплела трава.
 В голубых слезах поэта —
 Лавра влажная листва.

Память силы не утратит,
 И мечты цветут, едва
 Победителя украсит
 Лавра мирная листва.

Но для нильского дракона,
 Для чужого божества,
 Яд — во глубине флакона
 Лавра адская листва.

А поэт не зря таится:
 Тайный знак в час торжества,
 И — в кинжалы обратится
 Лавра мирная листва.

О, ЕСЛИ Б СНАЧАЛА...

Когда бы родиться мне заново,
 начать с девяностых годов,
 с младенчества, ныне туманного,

Под сенью ресниц, опущенных ниц, —
опустошенный взгляд.
Взлетит он с лица, лишен до конца
посулов, наград, угроз, —
И божий наш свет застынет в ответ,
и рай замолчит, и ад.
И слово, и жест вдали и окрест
забыются в сетях волос.
И жизнь моя вдруг, как брошенный труп,
кинет немой укор,
Из прошлого дня жестоко кланя
убийцы бесстрашный лик,
Не в силах и впредь преодолеть
этот холодный взор,
Не в силах порвать дрожащую прядь,
чтоб вырваться хоть на миг.
И сны — что кольцо: все то же лицо,
в жестокой своей волшбе.
Мучительный лик, и горек, и дик.
И, погруженный в ад,
В раба превратясь, пойму, кто здесь князь
и мне, и моей судьбе:
Под сенью ресниц, опущенных ниц,
опустошенный взгляд.

О, тончайший жест природы ты,
сентябрь первоначальный,
нив, коричневых и желтых,
взгляд предгибельный, печальный,

и дубрав огнистых пятна
 под небесным тихим светом,
 и соломенный оттенок трав,
 таких тревожных летом...
 Вздох мой, тихое безумье,
 мой конец, покуда дальний, —
 ты нежнейший жест природы,
 о, сентябрь первоначальный!.

Тициан ТАБИДЗЕ

БЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ

Для Грузии сгорали мы, чтоб снова
 для Грузии гореть. Но как темно!
 И солнце мрачное величия былого
 в пучину слез вот-вот сойти должно.

И наше горе не возьмешь в поводья.
 Красны от крови реки, а кругом...
 О, наши рощи в горьком половодье!
 О, наши души в трауре глухом!

О, долгий путь и бесконечный плач наш
 над гробом собственным. Погост далек,
 но всех проклятий, всех угроз, палач наш,
 и этот длинный путь вместить не смог.

И белый призрак над кортежем вьется —
 Мадонна белая — пресветлый лик...
 А пурпурному солнцу остается
 над морем слез — один недолгий миг.

Последний луч над горьким морем тает.
 Горит звезда, как скорбная свеча...
 Гиена стонет... И сова рыдает...
 И черный вихрь — как черная печаль...

Пречистая! Мадонна! Откровенье
 даруй нам, мать истерзанной страны:
 Где наша смерть, а с ней успокоенье?
 Где наша смерть, Мадонна?!

НА МАСКАРАДЕ

Темно в глазах. А все кругом горит –
 сгорает. Запах платьев ядовит.
 Зал дышит алым бархатом и черным.
 Звук, скрипки небывало удрученным
 ко мне приходит, чтоб во мне открыть
 мне самому неведомые раны.
 Как странно... Все, что было, – все в году
 бог весть каком уплыло, стало дальним...
 Нет имени тому, чего я жду
 сейчас смертельно сладким ожиданием.
 Но впереди – мертвец, суров и светел,
 под смертною рубашкою простой, –
 так некогда, оставшись сиротой,
 моя душа скончалась на рассвете...
 ...Зурна рыдает. Дикий танец гор
 показывают иностранцам.
 Скор
 и медлен танец. И пищит дудук.
 И звук зурны – все тот же скорбный звук,
 звук реквиема моего. Я знаю:
 нельзя мне вспоминать. И вспоминаю
 и май, и яблоню. Ее цветы –
 постелью белой по двору. И ты,
 невозвратимая, как время...
 Темно в глазах. Но все кругом горит –
 сгорает. Запах платьев ядовит.
 А мертвый зал, и шумный, и немой,
 танцует реквием печальный мой.

БИРНАМСКИЙ ЛЕС

Лес Бирнамский... Халдеи глубокие тени...
 И у пьяного гостя на жестком колене
 Леди Макбет нагая. Смертельно бело
 одеянье согбенного лорда Пьеро...

Вот Артур. С ним больные его бесенята.
 Чианури звучит, в тонких пальцах зажата,
 как смычок, отсеченная напрочь нога.

Тотчас самоубийцы, наполнив рога
и бокалы, как будто к заветной отраве,
припадают к ним – слава тебе, моурави!

Круг павлиний замкнулся, и в нем, точно зайца,
ярко-желтого гонит Паоло малайца.
И Офелия, быстро взглянув, замечает,
как пощечину звонкую вдруг получает
бледный Гамлет от дерзкой руки Валериана.

На большом эшафоте и зыбко и странно
эфемерный возносится храм. Никому
я не верю... Мучительны нежности Мэри.

Коломбину бьет кашель чахоточный. Двери
закрывает ноябрь, чтоб не слышать ему...

РАСТЯНУТЫЙ МАДРИГАЛ

М[арте] М[ачабели]

Ты вся отточена, как сабля Мачабели.
Ты – выше виселицы! Взор твой – это взор
Мадонны в час, когда от белой колыбели
падет на Картли он, и светел, и нескор.
То мне река Лиахва снится... То не спится...
А лишь засну: и бой! и мчится атабек!
Плывут тела татар сраженных. И Аспиндза
в Куру засмотрится, отныне и навек...
Опять в грузинских погребах играют вина,
и рыцарь к рыцарю спешит, и к рогу – рог.
Бессмертно солнце наше! Нет еще грузина,
чтоб перед смертью он забыть об этом мог.
Не быть мне мастером, стыдливым и невинным, –
пусть он царицын лик во фреске сохранят, –
но надо стыд забыть, чтобы пером гусиным
Махать настойчиво, когда клинок звенит.

Вот сердце! В Картли ты – последняя царица!
Возьми себе – да из него не пожалей
корону вырезать. Пусть побледнеют лица
других поэтов от гиперболы моей.

Я знал: слова ронять не следует, —
не предавал их во славу рифмы.
Когда строка строку преследует —
биенье сердца диктует ритмы.

Еще невысказанной истиной
душа томится, как в одиночке.
Но — кто я, что? Смычок таинственный...
А кто-то бурю провидит в строчке.

Нет, дорогие, не рождается
любовь ни силой, ни ядом лести.
Слова бессильно распадаются,
пока их ярость не сцепит вместе.

И вот, родившись, сочетание
в чужие руки тебя швыряет, —
когда их мужество чеканило,
твой стих отвагу не потеряет.

Но стих — лишь стих, покамест обжигом
он не испытан в любви и вере, —
тогда стихом, тобою сложенным,
народ наполнит свои свирели.

А мне все чудится: бессонница...
Дрожат все связи стихотворенья.
Сейчас оно сквозь ливень тронется,
пойдет обвалом через мгновенье.

И мир, с умом его рассудочным,
падет, как нива под саранчой.
Но станет в мире, слепом и сумрачном,
как будто больше одной свечой.

ЧЕМПИОН СЕЗОНА

О, это все темно и непонятно,
как жизнь иероглифов темна.

Я – мальчик, чиркающий грифелем невнятно,
когда душа другим увлечена.

Мадонна на базаре Дезертирском –
не ново ли? Я холоден душой.
А «Западный диван» напишет с блеском
какой-нибудь торговец небольшой.

Мне прежнее пристрастие к излияниям
и слезы беспричинные смешны.
Ведь лира – гусли, лирика – кривлянье,
когда надежды в прах сокрушены.

О сожаленьи, а не о спасеньи
молю. Скрипичной мессой мне в ответ
Лафторговское плачет воскресенье –
и просит мирры проклятый поэт...

Орпири... Дождь... Потоп... Добыт волною,
Ихтиозавр в ревущей тьме исчез...
И мнится: я – в порфире, надо мною
нашептывает страсти мокрый бес.

Бегу за уходящим днем, едва ли
не как ребенок. Моего отца
священники – двенадцать! – отпевали,
ни одного – в час моего конца!

Господь приемлет душу. В целом свете
Он ведает: не для земли она...
Так малярка плакала, в поэте,
сумбурна речь Табидзе и темна...

ПАВЛИНЫ В ГОРОДЕ

Жара над городом. За мыслью мысль несется –
пропасть, исчезнуть в солнечных облаках.
И ядовитых змей своих распустит солнце,
и алой кровью встанет в уличных канавах.
Жара над городом. Спешили колесницы,
за все излишества июль кляня жестоко.

Лишь кошки, радостно ревя на черепице,
 всю страсть свою приберегли для солнцепека.
 Был воздух синим – как поток стеклянной пыли, –
 и плыли всплески в нем, и вместе с ними плыли
 гудки и люди – в ярких бликах непривычных,
 и копоть черная из труб фабричных...
 Дрожит, как огненный язык, церковный купол.
 Больные псы на душных улицах – как трупы.
 На крышах кошки разноцветные взывают.
 И кони там, внизу, трепещут и срывают
 коляски с мест. Пожар – на праздничных знаменах,
 на круглых зонтиках, и красных, и зеленых.
 В стекле веранд – то изумруды, то рубины,
 и, словно бархат, тень – темны ее глубины...
 Все злей дракон кровавый. Воздух обретает
 черты идущего к пределу воспаления.
 И вот – свершилось: солнца пьяное веленье
 павлинов красных в синем воздухе рождает!
 Их появление – красный вихрь. И были дики
 их раскаленные, разломанные крики.
 На крыльях медь кипела. Будто их метало
 из тигля, из бурлящего металла.
 Их обожженные крыла не находили
 пристанищ. Их тела – в огне, в крови ли, –
 но так и отливали ярко-алым,
 как вспоротые солнечным кинжалом.
 О! Обезумевшие в солнечной печали
 большие птицы с мрачными глазами
 то голубое мясо воздуха терзали –
 глядели грозно, то пугались сами.
 И в душном городе безумье воцарилось,
 и ветвь срывалась и, упав, бессильно билась.
 Дома пылали, миг, другой – не устоять им.
 Метались люди с плачем и проклятьем.
 Трамваи путались, сходя с трамвайных линий,
 и крик стоял – немолчный крик павлиний.
 И кошки вдруг срывались вниз с крутого ската
 И, как слепые, мчались лошади куда-то
 и повисали на столбах с разбитой грудью,
 и ржали в воздухе, и рвали в клочья сбрую.
 Сверкала кровь на мостовых и на панели.
 И красный ветер выл – колокола звенели.

Был глух их звон, и страх согнал прохожих в сети.
 Исчезло все. Лишь с мертвым мертвую и встретишь.
 И пар горячий, цвета слез, всходил упруго.
 И красным сном забылся город. И – ни звука.
 Лишь купола с крестами светят. И на сучьях,
 как окровавленные мокрые тряпицы,
 измучив город, до смерти намучась,
 сидят устало солнечные птицы.

Георгий ЛЕОНИДЗЕ

ПРОМЕТЕЙ ЛЮБВИ

Я – Прометей любви, есть лишь одна
 владычица: я Грузию лишь знаю!
 Бессилен бог, бессилен сатана –
 нас не разъять ни аду и ни раю!

Вот та земля, которой смерти нет,
 и тот народ, с тигриною повадкой,
 и тот напев, томящий силой сладкой,
 пока он зреет в горле!
 Вот он след
 грузинки – след богини...
 След грузина –
 след льва, который страстью опален...
 И меч наш кровью вражеской червлен...
 И мы – горды...
 И нам пример – вершина!..
 Ваятели и воины, всегда
 у врат Европы стражей мы стояли,
 немало крови, пролито – едва ли
 о том в Европе помнят –
 Вот беда!
 О, Грузия,
 твой рок – наш общий рок,
 то нам в султане явленный, то – в хане,
 пока тебе заступник не помог
 привстать, вздохнуть, перевести дыхание.
 Но нынешнего дня живые лица –
 вокруг меня,

а все порой угрюм:
 пока крцанисский дым в душе клубится,
 ничто другое не идет на ум!
 Ты так прекрасна!
 Как же, бога ради,
 не затрепещет слово над стихом,
 коль от тебя в пяти шагах в засаде –
 пожар и град, крушение и гром?!
 Я – Прометей любви, есть лишь одна
 владычица:
 Я Грузию лишь знаю!
 Бессилен бог, бессилён сатана –
 Нас не разъять ни аду и ни раю.

Ните Табидзе

От горьких слов, и вздетых рук, и скорбных фраз,
 и толп, за гробом шествующих тенью,
 гроб Руставели распадался девять раз
 на медленной дороге к погребенью.

Я не дождусь вовек подобных похорон.
 Судьба певца! Что знаю я про это?
 Что знаю? Все! Любовь, восторг, и грусть, и стон,
 и власть, и одиночество поэта!

Поэт ли я, поэт ли твой отец?
 О нас ли наша Грузия мечтала?
 Не знаю... Знаю только: из сердец
 лишь вместе с кровью песня вылетала.

Не верь, не верь, что Грузию мою,
 воспламенить способны наши строки –
 тогда гробы рассыплются в дороге,
 пока нас погребут в родном краю!

Поверь в одно: уж это точно не вранье –
 богата ли поэзия? Безмерно.
 Но нет вернее гончих у нее,
 чем мы. Да и резвее нет, наверно.

И если стих, наш звонкий стих, в конце концов
не жжет и не горит, ну что же, дети, —
тогда и вы за нас — как за отцов! —
и Грузия — как за сынов! — в ответе.

Гроб Руставели распадался девять раз,
а наши будут целы и сохранны...
Но рифмы твоего отца — как раны
в груди моих певучих, долгих фраз...

Колау НАДИРАДЗЕ

НОЯБРЬСКАЯ МЕЛОДИЯ

Ноябрьский грустный свет. Над камнем плач фонтана.
К заходу посещу опавшую листву.
Сухая тень аллеи. Бессильная лиана.
Ушедший аромат вдохнуть бы наяву!

И целый день одна и ничему не рада
Газель, что вам мила: глаза блестят от слез.
Я повторяю: Глан, Виктория, Эдварда!
Ах, имя бы мое ваш голос произнес!

Стоит немой рояль, как некий дух укора.
А помню, Шуберт был, молился дивный Бах.
Вы излучали свет, и, в синеве простора,
Высокий олеандр белел в пяти шагах.

Ноябрьская печаль... Зима ведь у порога.
А я вдыхаю тлен и в нем цветенья жду!
И вновь ваш горный тур томится одиноко,
Печалится о вас в умолкнувшем саду.

ЖИВУЩАЯ ВО МНЕ

О, моей жизни вечный источник, ты, если жив я, —
тоже живая!
Ты, если жив я, — в сердце, как прежде, не остывая,
не убывая.

Я и живу-то памяти ради: жесты храню я, помню
 слова я...
 Ты уходила просто и тихо. Ныне бредешь ты садом
 молчанья.
 Но лишь тобою ныне спасен я от оскуденья, от одичанья.
 Храм моих мыслей – вот кто ты ныне.
 И в этом храме – просто свеча я.
 Где бы я ни был – вечен твой голос, влага живого
 чудо-колодца.
 Ты, если жив я, – тоже живая. Мы не исчезли.
 Все остается!
 Жив я лишь болью. Жив я любовью.
 Жизнью за муку нам воздается
 Вот уж и встречу не тороплю я: кто же лишит нас
 этого срока?
 Я еще жажду битвы со смертью и не приемлю
 дикого рока!
 Только сосуд я. Ты в нем хранишься.
 Будь же еще, хоть мгновение ока.

Ираклий АБАШИДЗЕ

ВДОХНОВЕНЬЕ

Так это ты, святое вдохновение?
 Ты здесь? Тебя я тотчас узнаю.
 Хвала тебе! И да придет мгновение,
 когда ты снова явишь власть свою.

Так это ты вселилось вдруг в лавину,
 крутые горы Пшавии круша,
 и был прикован к ветхому камину
 их верховод, их тайновед – Важа?

Не ты ль морозным вышило узором
 чаргальскую дорожную суму –
 в ней нес Важа свой вещий труд, в котором
 он волю дал и сердцу, и уму?

Не ты ль светилось в поднятом стакане,
 в простом вине тбилисских погребков,

когда оно, во здравие веков,
поило кисть — и чью же: Пиросмани!

Не ты ль — конечно, ты! — за нами следом
сомнение и раздумье приведя,
вдруг небо озаряло синим цветом,
как будто бы и не было дождя?

И, наконец, ответствуй: уж не ты ли
в Гандже далекой
жгло сильнее, чем зной?
Иссохшая душа Бараташвили!
Она распята — ты тому виной!
Хвала тебе. Живи и правь вовеки,
но все ж, когда творит рука творца,
всегда ль ты воплощаешь до конца
всю страсть, которой тесно в человеке,
всю доброту, всю боль, весь гнев его?
Во все века они рвались наружу.
Ты помогло им? Более того,
живя в душе, ты не сожгло ли душу?

А что, когда и ты грешным-грешно
пред одному тебе известным богом:
пора! — а слово не изречено;
конец! — а надо бы еще о многом!..

Иль золото неизреченных слов
и золото мазков несотворенных
червям достались в царстве вечных снов —
слепым червям во тьме могил бездонных?

А может быть, не выплеснутый гнев
земную твердь колышет и доселе?
Но, мглу и сон, и смерть не одолев,
он так и остается в подземелье?

О, если это так,
будь ты судьба,
будь божий гнев, будь милость ты господня, —
Молю: помилуй своего раба!
Раба помилуй своего
сегодня...

ПЫЛАЮЩИЙ АПРЕЛЬ

Чего же мне еще?
 А все недостает
 цветенья – от земли,
 а от небес – сиянья.
 Впрямь – задохнусь,
 когда не утолят желанья
 цветущая земля и яркий небосвод.
 И от болнисских стен,
 от их святых камней,
 и от святых деревьев
 из парка Цинандали
 чего-то, что я сам смогу назвать едва ли,
 нетерпеливо жду
 чем дальше, тем жадней.
 И не хватает мне
 уже самой весны,
 и тесно мне уже
 в самом апрельском звоне
 Арагви и Куры, Лиахви и Риони –
 так им самим порой их берега тесны...
 Разбег дорог и троп
 и переулков сеть,
 поля в сплошных цветах,
 растений запах слитный –
 всем существом своим,
 всей грудью ненасытной
 к ним враз ко всем припасть!
 Припасть – и умереть...

ДУХ ЗАЩИЩАЮЩИЙ

Так, значит, не видал?..
 Не замечал?..
 Не слышал?..
 Ни за что не отвечал?
 Так, значит, не постиг?..
 Не понял сути?..
 А просто просыпался, засыпал,
 нигде не поскользнулся, не упал,

и тихо процветал в тепле, в уюте?
 Так, значит,
 ни сомнений, ни печали,
 и по ночам раздумья не стучали
 в твоё окоченевшее окно?
 Хоть истина не так проста,
 однако
 вся тяжесть вопросительного знака
 тебе не горбит плечи все равно?
 О, нет,
 картин былых не воскрешай,
 былым речам звучать не разрешай!
 Ты только жил.
 Ты никого не предал.
 Ты жил.
 Ты ничего не разрушал.
 Не возводил.
 Ты только жил.
 Дышал.
 Не видел!..
 Не слышал!..
 Не знал!..
 Не ведал!..

ПАМЯТИ ПАОЛО ЯШВИЛИ

Может,
 и этот бедный листок
 старой печали
 взял бы с собой я:
 молча уйти
 должен мужчина.
 Что же я дрогнул?
 Что же уста не промолчали?
 Груз полувека
 на плечи лег —
 вот в чём причина...
 Если услышишь
 эту строку, жившую нёмо, —
 может,
 покинешь мысли, мои?

Это свобода!
Может, замолкнет
этого дня гневное небо!
Может, отступит
желтый, как желчь, вечер уходя!..
Что мне догадки –
будь в них и ум,
будь в них и нежность:
страшный твой выстрел –
он для тебя
зло или благо?
Необходимость
это была
или поспешность?
Бой или бегство?
Боль или гнев?
Страх иль отвага?
Ты – человек был.
Богом самим
создан, для встречи
с другом,
с любимой,
с яркой строкой,
с полным кувшином.
Пусть ты не первый
так вот ушел –
были предтечи –
а как представляю:
именно ты! –
холод по жилам!..
Общий любимец,
ты восседал в центре застолья –
кто же сумел бы
так разделить бычью лопатку?
О, как любил ты,
наш тамада,
встать, чтобы стоя
щедро прославить
в острых словах
всех по порядку!
Вечно беспечный,
как наш припев «ари-арали»,

всем-то ты верил:
часто — не зря, часто — напрасно.
Щедрость Паоло
всякий грузин помнит прекрасно:
эх, мать честная,
все позабыл, это — едва ли...

Ты не упреком правду считал,
не похвалою.
Не обижался,
да и смешно:
ты — и обида!..
Только и я ведь
заговорил — так уж не скрою:
слишком, Паоло, щедро ты жил,
слишком открыто.

Знаю, все знаю:
дескать, теперь просто — об этом,
время ведь — лекарь,
даром, что гнет статные плечи.
Ты же был молод.
Был удалцом.
Ты был поэтом.
С собственной волей
был в роковом
противоречье.

Жил без оглядки —
всем раздавал радость удачи.
Жил без поводов,
если влекла страсть иль привычка.
Думал наивно;
всяк тебе друг — как же иначе?
Ведь для вражды-то
ссора нужна
или хоть стычка.
В пьяном от жизни сердце твоём
денно и ночью,
к страху рассудка,
торжествовал
бог вдохновенья.

И невозможно, —
правда твоя! —
о, невозможно,
встретив Паоло,
не полюбить в то же мгновенье!..

К битве двух Грузий
ты приковал взгляд опаленный!
Старая гибла.
Прежней была только природа.
Так и стоял ты,
в обе страны насмерть влюбленный,
сыном,
обнявшим мать и отца
в час их развода.
И убедившись:
эта вражда непримирима
и на священной старой земле
все по-иному, —
ты, хоть и с болью,
но по-мужски —
неумолимо —
в собственном сердце
сам убивал;
тягу к былому.

Впрочем, зачем же
я говорю то, что не ново.
Разве ты станешь
слушать стихи
без откровений —
вот напишу я этим пером
верное слово:
если ты — жертва,
то — не борьбы
и не сомнений.

Разве не мог ты,
искренний мой,
в новой державе
древней молитвой
древней земле

жарко молиться?..
 Поздно!..
 Во прахе Авелю быть,
 Каину – в славе,
 бешенство крови
 в жилах его –
 вот твой убийца!

В Грузии – смутно.
 Год роковой.
 Каин вещает.
 Выйдут на травлю,
 скажут, что – враг.
 Имя отымут.

...Четверть столетья
 душу мою взор твой смущает.
 Только ли боги, –
 я говорю, –
 смерти не имут?

ГЕОРГИЮ ЛЕОНИДЗЕ

Как уход твой сказался:
 и осень,
 и ранняя темень,
 и измена небес,
 и агония солнца во мгле –
 будто в наших горах
 пролетал пастернаковский демон
 и всю прелесть Авчалы и Мцхеты
 унес на крыле.

А ведь те же цветы
 переключку ведут, как и прежде.
 И фазаны сидят
 возле Цхнети, на птичьей тропе.
 Удзо в тайну глядит
 в неизбывной, но тщетной надежде,
 и, в преддверье зимы,
 весь горит, как горел при тебе.

Как тогда, при тебе,
 осень с тихим серпом
 по Манглиси,
 по Орбети пройдет:
 через пастбища,
 через луга...
 Как тогда, в Самадло
 осыпаются мертвые листья,
 И желтинник раздет.
 И уже ежевика нага.
 Из Тбилиси скорей!
 Как тогда,
 из Тбилиси – в дорогу!
 Капли мерзлой росы
 на дороге скрипят, как стекло,
 чтоб осенний наш хлеб,
 как два рога,
 скрещенных два рога,
 нам скорей надломить.
 О, как ждет нас туман в Самадло!

Изобилье всего!
 Как тогда, поработало лето!..
 Щедр воскресный наш стол, –
 накрывала нам осень любя!
 Но, как этим горам
 не хватает какого-то цвета,
 так и этот наш хлеб –
 что-то пресен он мне без тебя.

Ах, с тобой за столом
 поиграть мы любили словами:
 Каламбуром одним
 отражали другой без труда...
 Как же муки свои
 двум поэтам не сталкивать лбами?
 Лишь врагу да глупцу
 все мерещилась в этом вражда.
 Ты и друг,
 ты и маг,
 ты – и часть этой яркой природы,
 этот пир,
 этот мир,

это буйство и бездн, и высот!
 Ты и образ живой
 потрясаяще искренней оды,
 весь – любовь,
 весь – восторг,
 и разбег, и порыв, и полет!
 Бог любви, –
 лишь его почитал ты единственным богом,
 бог любви,
 сын земли,
 рассекающий синюю твердь.
 Может, именно ты
 обладал самым верным итогом:
 лишь в любви,
 лишь в любви для поэта и слава и смерть!
 Не поэт ли –
 судья человеческим несовершенствам?
 Не для добрых ли чувств
 он любовно сплетает слова?!
 Но неужто – запрет
 над мирской красотой и блаженством?
 Что же
 Анакреонт запрещен?
 Или Саят-Нова?

Кто когда посягнул
 на священное право поэта
 совершать сумасбродства
 при виде земной красоты,
 и слагать ей стихи,
 и сгорать от любви,
 и за это
 властью солнца и молний
 стать пеплом однажды – как ты!
 Жизнь наградой была –
 как ты прав, что гордился ты этим!
 Достояньем своим
 ты недаром считал белый свет.
 Право, если не нам,
 то кому же,
 кому и владеть им:

или твой этот мир,
или ты — не творец, не поэт.

Как уход твой сказался:
и осень,
и ранняя темень,
и измена небес,
и агония солнца во мгле —
будто в наших горах
пролетал пастернаковский демон
и всю прелесть Авчалы и Мцхеты
унес на крыле.

ДУХ ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ

Необходимо ли?
Необходимо ль это,
чтоб дух преследующий
мучил мозг поэта,
шепча все тот же проклятый вопрос,
и проникал все глубже с дерзостью отважной?
О, голос порицающий протяжный!..
О, эта грусть, и скорбь,
и боль до слез!

Необходимо ли?
Необходимо ль это?
Подай же голос!
Сколько ждать ответа,
дух непреклонный послегрозовой?

Прими, признай
или отринь мятечно,
но все ж: необходимо?
Неизбежно?
О, как неспешен взгляд безмолвный твой!

Дух боли,
дух теней,
дух ветра,
дух рассвета.
Необходимо ли?
Необходимо ль это?

Григол АБАШИДЗЕ

Что живо и что ново под луной —
 Находится в движеньи,
 в напряженьи.
 Уж так устроен этот мир земной,
 Что с созиданьем рядом — разрушенье.
 Но даже пыль,
 степная пыль, и та
 Не зря неслась,
 вода не зря шумела.
 Во всем живом своя есть красота,
 Она есть чудо!
 Чуду нет предела!
 И дивных див
 вокруг полным-полно.
 И прошлое
 бессильно пред грядущим...
 И этой сказке,
 этим дням цветущим
 конца не суждено.

Мирза ГЕЛОВАНИ

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Ночные тени лягут и останутся...
 Как будто книжные тома, дома разбросаны.
 И псы к луне, как астрономы, тянутся...
 И я опять наедине с вопросами,
 которым лишь один ответ — молчание,
 а лгать —
 да перед зеркалом —
 бессмысленно.
 Как альпинист, обвалом измочаленный,
 душа кричит — ей без тебя невыносимо.
 Какой поэт не шел строкой проселочной,
 ища в тебе любовь, а в ней — крушение.
 А я тебя писал: без тени! солнечной! —
 ну не твое ль у строчки выражение?
 Так почему один смотрю на дерево —
 на нем к утру краснее станет ржавчина —

и, как упавший лист, молчу потерянно
и желт, как этот лист неудержавшийся?..
Ты далеко,
Ты – где-то...
Здесь же ветрено.
Здесь братство одиноких зарождается.
– Входи! – скажу я дереву приветливо,
оно в тепле, озябшее, нуждается.
– Входи, побудь со мной – до пара первого,
а там придет тепло животворящее,
и на твоих ветвях от духа спелого
из прошлого родится настоящее...
Как пусто...
О, неужто необычную
мне месть избрать
и, к радости ворон,
по старому китайскому обычаю,
с собой покончить у твоих ворот, –
и пусть соьбьется с круга, потрясенная,
земля...
Летят над лужами прыщавыми
слезинки, ветром с неба принесенные, –
а что там: возвращенье ли? Прощанье ли?

МАСКАРАД

Шелест, потаенный шаг, – ну, кто еще?!
Будто лес шумит за дверью в сад.
Плечи, синие, как у чудовища,
показал оттуда маскарад.

Словно сито – свет и мгла кромешная.
Нас двоих отсеял этот лес:
маска справа – леди белоснежная,
маска слева – черный Ахиллес.

Эта встреча – точно луч без отсвета,
как молитва вперехват греха...
Флейта бормотала всласть и досыта
что-то вроде белого стиха.

Всех объединил высокой властью
танец, обезумевший в конце.
Улыбаться твоему согласию
мне мешала маска на лице...

...Вслед огням, их трепету прелестному,
мы идем устало, кто куда.
Не в пяту я ранен Ахиллесову –
в сердце, но смертельно, как тогда...

Нет тебя. Слова мои нескладные,
для чего – не знаю, берегу,
хоть мелькают ночи маскарадные,
как олени ноги на бегу.

Но, заняв и цвет, и настроение
у лучей, звенящих на ветру,
я с крутой горы, как откровение,
прокричу однажды поутру:

– Мне известен этот подлый заговор,
заговор завистливых дорог,
где любая вспять метнется загодя,
лишь бы я найти тебя не смог!..

По садам иду, как за кулисами,
эту маску белую ищу.
Не найду за тающими листьями,
не найду – и снова загрущу.

Надо мною сквознячком раскачаны
профили деревьев и домов.
Вкруг меня неясно обозначены
медленные дни без вечеров.

Отгнав надежд столпотворение,
ухмыльнусь не сразу и не вдруг:
всяким маскам гнев мой и презрение,
как первопричине всех разлук.

УГРОЗЫ ПАСТУХА

Погоди, зажму я рану,
кровь травой остановлю, –
вновь приду на ту поляну,
на глухую, на твою.

Увезу, умчу, похищу!
Зол под нами вороной.
Пусть хоть сто друзей, хоть тыщу
муж твой бросит за женой –
сто ударов, а удары:
сто бойцов во мху густом! –
мне бы только до чинары –
ветки станут мне щитом.

Что ищу – сыщу во взгляде,
встречу взор горящий твой –
эти косы, эти пряди
перепутаю с травой.

Ничего потом не жалко:
пусть убьют средь бела дня,
пусть кривой язык кинжала
колет землю сквозь меня.

Нож мой вечно наготове.
Черен крестик черенка.
Пролила немало крови
эта белая рука.
Я когда и пел на людях –
втайне горе горевал:
горький клич мой не забудет
одиноким перевал.
Многим очи затворили
мы на пару: смерть и я.
Подняло немало пыли
эхо старого ружья...
Погоди, найду, не глядя!
Только вскрикнет дверь твоя.
Черных рук твоих объяття
на себе услышу я.

Ничего потом не жалко:
 Пусть убьют средь бела дня,
 пусть кривой язык кинжала
 сыщёт землю сквозь меня.

Впереди неизвестность. И стало былым настоящее.
 О, как Вы далеко, – как то небо, ничем не грозящее.
 Где глаза Ваши, волосы Ваши – оттенков загадочных, –
 как у дам, молчаливо живущих в кирпичиках карточных...

– Не умру, не увидев Вас, – я говорил на прощание.
 День с утра, как бандит, караулит мое обещание.
 «Не умру, не увидев...». Ни зги не видать за разрывами.
 Да простятся мне речи те, если окажутся лживыми.

Я не герой. Но мне в бою везло.
 Меня мой рок хранил, смертям назло.
 Мне не о смерти помнить тяжело,
 а вспоминать о вас, мое вы горе,

не потому, что мне любовь нова,
 не потому, что ей смешны слова,
 и что в душе сокрытое сперва
 ночному грабежу подверглось вскоре.

Не потому. И уж не потому,
 что эта ночь не снится никому,
 что боль моя в предутреннем дыму
 лишь вас, одну лишь вас звала тревожно, –

о, нет!.. А просто смерть, как ни крути,
 в пяти шагах. И вы – залог в пути,
 что все еще возможно впереди.
 Возможно все... И прошлое возможно...

ПИСЬМО К ДРУГУ-ПОЭТУ, НАПИСАННОЕ ПЕРЕД НОЧНЫМ БОЕМ

То ли стремление собой оставаться
мы почитали свидетельством роста,
то ли нам гонор мешал столкнуться, —
только мы шли хоть и рядом, а розно.

Я не прощал тебе тайно и явно
каждую злую и горькую фразу.
Ну, а уж ты обо мне и подавно
доброго слова не молвил ни разу.

...Как ты мне нужен! Где ночью осенней
машешь рукой, не знакомой затвору?
Этой же ночью, — быть может, последней, —
друг твой к другому готов разговору.

Ночь на подходе. В полночном набеге
сванские ноги мои не споткнутся,
Ночь эта будет моей, пусть вовеки
мне на рассвете уже не проснуться...

Помни, что я,
привыкающий к смерти,
как привыкают к дурному соседу,
я, достающий врага в километре
и приближающий этим победу,
видевший рядом, в сугробе глубоком,
взгляд удивленный убитого брата,
я, и не живший,
я, чуть не ребенком
знавший нетрудный язык автомата,
я, твой ровесник,
считая морщины,
я говорю тебе: если в дни битвы
каждый твой стих — это слово мужчины,
кто бы чего ни сказал, друг, —
мы квиты.

КАМЫШ-БУРУН

Камыш-Бурун,
Камыш-Бурун!
Ослепшая каменоломня.
Тяжелый гул. Дрожащий грунт.
Земли пылающей жаровня.
Убог, ничем не защищен
приют наш в схватке этой пылкой.
И горький май наш освещен,
как вся судьба моя, – коптилкой.
Камыш-Бурун,
Камыш-Бурун,
и вновь я слышу отголоски,
вновь, слышу, в берег бьет бурун –
то черноморский, то азовский.
Как мальчик раненый кричит...
О, не сломаться! Не склониться!
Как в небе крыльями сучит,
Запутавшись в разрывах, птица...
Берусь за фляжку – ни глотка.
Как волк, рычит, проснувшись, голод.
Волна крутого кипятка,
шипя, бьет в берег.
Бедный город!
Как очи, окна обратив
ко мне, дома идут в пучину.
Я сам без сил, я сам чуть жив,
так я ль их гибель отодвину!..
...Кто, как не ты, меня поймет,
листая пыльную тетрадку,
где мертвых дат скупой черед
я оживляю по порядку.
Мой бедный щит, простой валун,
терзаемый средь пуль свистящих...
И сотни уст,
произносящих:
– Камыш-Бурун,
Камыш-Бурун...

Мурман ЛЕБАНИДЗЕ**ПОМНЮ!**

Если я чего-то стою, все слова забуду, кроме
«помню»!
Я вино твое густое, то, черней медвежьей крови,
помню!
И какую ты бутыль мне подарил на расставанье,
помню.
И очаг, горящий, дымный, мясо жаркое кабанье
помню.
Как ты вел, чертям назло, славный пир
в Йор-Муганло,
помню.
Как к охоте вечный вкус прививал мне – наизусть
помню!
То, что мне помог тогда встретить дикого кота,
помню!
То, что, сдерживая пыл, первый выстрел уступил,
помню!
Как я первый шаг запомнил, так и первого фазана
помню!
Что, когда его ты поднял, ликовал я несказанно,
помню!
И взъерошенные пики рослой чащи тростниковой
помню.
И промозглый вечер дикий, на плечах брезент суровый
помню.
От болот больных и тряских путь до солнечных холмов
помню.
Кунаков твоих татарских и радушье их домов
помню!
Помню все: как уставал ты – и чем дальше,
тем все больше –
помню!
Помню то, как ускользал ты от друзей, от нас – о боже! –
помню!
– Эх, старею, – говорил ты, – и собака уж не та!..
Помню!
– Ах, светает, – говорил ты, – ведь какая красота!
Помню!

Как, присев на шаткой кочке,
 у костра стихи твердил ты,
 помню!
 И четыре эти строчки, что особенно любил ты,
 помню:
 «Взгляни, Кахетия, не август ли спешит,
 Взорвался персик, воздух вздрогнул чутко.
 И куропатка в диких зарослях шуршит.
 И вновь, с тоской, глядит с болота утка».

Джансуг ЧАРКВИАНИ

РОДИНА

Во мне ли ты – твой дух, твой ореол! –
 иль я в тебе – кровинка горяча! –
 я лишь тогда воистину орел,
 когда взлетаю с твоего плеча.
 Ты ль мой высокий слог, иль это я –
 гуденье гор твоих, но искони
 вся боль во мне – твоя, вся страсть – твоя,
 я потому и слышен в наши дни.
 В чем ты права – уж ты навек права,
 я вижу все, все слышу – я сказал!
 Где я прочту великие слова,
 какие бы с тобой я не связал!
 Да здравствует и дух, и плоть твоя!
 Да станет братом каждый добрый гость!
 Да воскресит щедрейшая земля
 во имя дружбы выжатую гроздь!
 Да светятся все чище и святей
 огни ночей, прекрасных оттого,
 что горяча любовь твоих детей!
 И все! И не прибавлю ничего...

Когда в тиши заговорит родник,
 Когда коснется солнца клич олений,
 И всю природу озарит на миг
 Всех вишен взрыв,

Когда без промедлений
 К желанной песне припадут уста,
 Когда олени замелькают в чаще,
 И ласточки дождется высота,
 И снизойдет веселый луч скользящий,
 Когда олень направит на апрель
 Удар рогов, нет – персиковых веток,
 И серый снег, незыблемый досель,
 Уступит луг коврам иных расцветок,
 Когда олень оленю клок травы
 Протянет, чтобы чокнуться рогами,
 Когда лоза зелеными руками
 Обнимет колья, стойкие, увы, –
 Тогда взгляну на волшебство камней
 Там, в небесах,
 И засмеюсь, заплачу!
 И старожил услышит шорох дней.
 И вдруг пойму:
 И я здесь что-то значу!
 И возгордясь, и вместе возгорясь,
 Начну светить,
 Как келептари ночью,
 И россыпь лет, и мудрую их связь,
 Их вечный смысл увижу вдруг воочию.

В ЛЕЧХУМИ

И речь твоя, и пенье тоже –
 Все там. А здесь – лишь шум листвы...
 Чем ты прекрасней и дороже,
 Тем я печальнее, увы.

Чу, вот, свое покинув ложе,
 Туман поплыл от синевы!
 Но чем ты лучше и дороже,
 Тем я печальнее, увы.

Случись найти тебя, о боже, –
 Одну, в горах, в кошме травы!..
 Но чем ты лучше и дороже,
 Тем я печальнее, увы...

Там или здесь – все то же, то же:
 Твой смех нейдет из головы,
 И чем ты лучше и дороже,
 Тем я печальнее, увы.

Певцов Орбели мне уж мало:
 Твой голос – вышней красоты!
 Таких в Лечхуми не бывало,
 Ну, что же, – тем прекрасней ты!

Когда с твоей улыбкой юной
 Вдруг роща глянет невзначай,
 Вдоль Цхенисцхали мчу, безумный.
 О, до свиданья! Нет – прощай!..

Хута БЕРУЛАВА

НА МОТИВ СТАРЫХ ТБИЛИСЦЕВ

Пора надежд, потом пора утрат,
 Пора ночных тбилисских серенад.
 Пою в вечерних сумерках – и пусть
 Покой твой сохранят напевы эти.
 Большая страсть да небольшая грусть –
 Вот все, чем я богат на белом свете.

Завистников зловредная толпа,
 Немного славы, честная победа
 Да собственные голос и тропа –
 Вот все, чего я жду от бела света.

Вечерний луч покинул небосклон
 И на твоих коленях спит счастливо.
 И я опять пришел под твой балкон
 Для старого тбилисского мотива.

И всем, что свято, вновь тебя молю:
 Я здесь – не убивай любовь мою.

Морис ПОЦХИШВИЛИ

ЛУНАТИЧЕСКАЯ СОНАТА

Твоя душа мне сопредельна,
Как цепкий плющ витой резьбе.
Я думал: ненависть смертельна,
Умру же от любви к тебе.

Опять слышна оленье битва,
Боярышник шумит листвою.
Я думал, что уже убит я,
Но понял вдруг, что вновь – живой!

Как ноты, птицы промелькнули,
Смычок на провод лег, звеня.
Я думал, что сражен я пулей –
Сразило пением меня!

Твоя луна – что плющ тот гибкий:
Заткала мир, за пядью пядь.
Я думал, что умру с улыбкой,
Но вижу: грустно умирать.

РЕКВИЕМ

Я сражен был, я умолк надолго –
Лишь стонал беспомощно и жутко.
О, Галактион, Симон и Гогла,
Роза, гиацинт и незабудка...

Две Арагвы в грудь стучатся волгло,
Как туман, их друг приходит чутко –
О Галактион, Симон и Гогла,
Роза, гиацинт и незабудка.

На Мтацминде что за топот дерзкий?
Нет, печаль не победит рассудка.
Мой Тбилиси, нам опять поддержкой
Роза, гиацинт и незабудка...

Вновь Струна трепещет – не умолкла.
 С нами все: и мудрость их, и шутка.
 О Галактион, Симон и Гогла...
 Роза, гиацинт и незабудка!

Хута ГАГУА

Какое утро! Что за чудный свет!
 Как виден сад, его живые связи!
 И соловей открыто, как поэт,
 поет, поет, закрыв глаза в экстазе.

На шаткой ветке вольно основал
 он песнь свою и труд свой неустанный.
 И кажется, всех хищников сковал
 счастливый этот голос первозданный.

Но сокол, хищный замысел тая,
 облюбовав чинару иль тутовник,
 лишь потому не тронет воробья,
 чтоб наконец беспечней стал садовник...

Все та же боль в сознании моем
 сильнее, чем соловьиная услада:
 в саду, где сокол рядом с воробьем, –
 живая неизбежность их разлада.

ГОСТИНИЦА

Гостиница давала всем приют,
 Кто в ней нуждался и имел монету.
 Хотя последним здесь отказа нету,
 И первых редко обижали тут.

И вот, пройдя по длинному крылу,
 Я, наконец, туда вхожу устало,
 Где горничная наспех выгребала
 Страстей угасших пепел и золу.

Не то, чтоб номер был из лучших. Нет.
 Но и не плох. В нем был уют транзитный.
 И в зеркале, в утробе ненасытной,
 Был повторен любой его предмет.

Я Лорку тут листал по вечерам
 Тогда, в былом, теперь довольно дальнем.
 Спал сразу здесь и там – в стекле зеркальном,
 Со страхом просыпаясь здесь и там.

Меж крупных зданий, выстроенных в ряд,
 Заря была натянута неровно,
 Она в рассветной мгле читалась, словно
 Призывный транспарант или плакат.

Но луч входил и робко, и тайком.
 В его вторженьи не было отваги.
 И это чудо утра на бумаге
 Явить я тщился ясным языком.

Но кто-то, мне неведомый, мешал,
 Подсказывал не то, толкал куда-то.
 И я смотрел на запад в час заката,
 Где красный отсвет сумрака лежал.

Никто меня не ждал, а между тем
 Я тихо покидал обитель эту,
 ...Гостиница приют давала всем,
 Кто в ней нуждался и имел монету.

В КАФЕ

Боксер ли, борец ли в минувшем,
 громадина-официант
 лениво и долго на счетах
 считал и выписывал счет.

Я точно – копейка в копейку –
 ему заплатил. Он глаза
 воловьи расширил: откуда
 я знаю, что стоит боржом?

Мне стало смешно. В это время
за стол незнакомец присел,
такой, средних лет незнакомец,
но согнутый не по летам.

Небритый, небось, три недели,
он был загорел и лохмат,
и руку свою, точно кость, он
глодал, хохоча, как дикарь.

Умолкнув же, голову свесил,
уставясь на мятый пиджак —
в нем что-то его привлекало,
невидимое для других.

— Безумье! — сказал он печально. —
Меня сумасшедшим зовут.
А что запретишь сумасшедшим,
хоть мужество им ни к чему?

Но кто разберет, где граница,
где трусость, а где героизм, —
когда, хоть умри — не спасешься,
и выхода нет у тебя.

Вокруг, прямо в кружки пивные,
прекрасное лили вино,
и вот уж о Родине милой
был выплеснут искренний тост.

— Ах, Родина, — молвил сосед мой, —
прости меня, мать. На земле,
как видно, я с жизнью был связан
лишь женщиной, бедной женой.

Не ведаю горечи горше
измены любимой твоей,
когда оскорблен и унижен
сам дух горделивый мужской.

Не ведаю трусости ниже,
 чем месть за гордыню свою.
 Живи, отойдя от любимой,
 не можешь – себя пореши...

Он встал. И ушел. Одиноким.
 За дверью лил дождь без конца.
 Потомки Шедана Чиладзе
 все кружки вздымали свои.

Лишь все ту же сценку
 утром узнаю:
 там, где множит эхо лестничная клетка,
 жестом недовольным
 в сторону мою
 дворнику покажет желчная соседка.

Шота НИШНИАНИДЗЕ

Война, дуэль и нищенское ложе,
 вы многих унесли из бытия.
 Среди них, о боже, те, кто помолоче,
 кто лучше и полезнее, чем я!

Хоть младшего, иного поколения,
 я старше их. И вместе с сединой
 растут во мне неловкость и сомненье,
 которым вскормлен день грядущий мой.

В былые времена тот не жил долго,
 кто – истинный мужчина,
 кто – поэт.
 Так уж не трус ли тот, кто прожил столько?
 Не страх ли – основание долгих лет?

И если нынче годы за спиною,
хоть жил, как мне казалось, горячо,
то не виновен ли перед собою
иль господом, иль кем-нибудь еще?

Я за другого умер ли на плахе?
От друга смерть отвел своей рукой?
О, на весах судьбы, дрожащих в страхе,
что перевесит: мука иль покой?

А те, кто пеплом стал в кипящей были, –
и чужья смерть, но прежде жизнь любя, –
успели все
и долг свой заплатили,
достойно победив самих себя.

Их возраст поражает до испуга:
тот – в тридцать семь,
тот – в двадцать восемь лет...
Дай столько лет мне, сколько раз за друга
я в жизни умирал. Не больше, нет!

Нодар ГУРЕШИДЗЕ

ЛИСТОПАД

Листья притихших деревьев желтей, чем айва.
Осень. Она испокон к желтизне тяготеет.
Солнце скупей на лучи, бережливей на свет.
Сами деревья теперь свои старые кости
Тянут к светилу. А в небе летят журавли.

Шелест ветвей, шелестящих в канун разоренья...
Трепет кружащихся листьев, плывущих к земле.
Как они медлят, стараясь продлить на секунду
Путь свой от плоти любимой к неведомой почве,
К тлену и праху... А в небе летят журавли.

Экое горе, большая печаль у деревьев:
Этой листвы нежно-желтой вот-вот – и не станет,

Дождь ли косой или ветер пустой – все равно,
Много ли надо, чтоб то, что сверкало и билось,
Грязью вдруг стало?.. А в небе летят журавли.

Тихий, настойчивый, тайный, чуть слышимый шепот
Даже в лесу одиноких деревьев – о чем?
Гнев ли грядущих ветров обсуждают они,
Или же кольца годов чересчур их сдавили –
Бог разберет их. А в небе летят журавли.

Может, и каждое дерево знает о том,
Что и оно, как листва его, смертно и тленно,
И перед тем, как вернуться в холодную землю,
Первый свой трепет и шелест припомнить спешит.
Может быть... Может... А в небе летят журавли.

Тамаз ЧИЛАДЗЕ

Если сам ты – частица сущего,
То тебе уже – не до старости.
Вроде вихря, ветрило рвущего,
Тучи сшиблись с дубами в ярости.

И бокал твой, звеня заранее
От закатного светел золота.
И похожа на тень желания
Плоть граната, лучом расколота.

И с Арагви мчащий, с ночной реки,
Ветер ищет тебя на сырой земле,
И колени твои сквозь сумерки
Так поют, как костер в непроглядной тьме.

Ты – страна раздолья цветущего,
Неприступного в дикой яркости!
Вроде вихря, ветрило рвущего,
Тучи сшиблись с дубами в ярости.

Пробежал свою жизнь без покоя, без отдыха,
И, усталый, стою перед миром разведанным,

Привыкая к блаженству нежнейшего воздуха...
Почему же смущен беспокойством неведомым?

Нет, все боли мне вняты – другие немислимы:
Все – тоска по ушедшим: о друге, о брате.
И на небо смотрю, не приемля той истины,
Что последняя звездочка гаснет во мраке.

«Живу здесь как лишний гость».

Ван Вей

На заре голубая дымка реки
Розовеет – не вмиг, постепенно.
А в камине нетленной мечты огоньки
Вновь меня согревают нетленно.

Смолк сверчок. Время бденья царит на земле.
И - не скрыться, не стоит пытаться.
И очки мои тихо лежат на столе
Рядом с мудрою книгой китайца.

«Это означает полет без крыльев во мраке».

Отар Чиладзе

Ты, как будто назло провиденью,
Время опередил и судьбу,
В одиночку стремительной тенью
За глухую скользнув городьбу.

Вспоминаю бывшее сегодня я,
Как без крыльев над тучей полет.
Речь небес, столь внезапно свободная!
В ней хоть тень утешенья живет.

Там привычно тебе, где лишь звездочки
Разговаривают во мгле –
Ведь, как птица, земли ты ни горсточки
Никогда не имел на земле.

Как от жизни хмелели, по чести, мы!..
 Хоть глоток на двоих бы испить,
 Чтоб из этого мира да вместе бы
 На пароме Харона уплыть...

КЛАСС МАСТЕРА



В рамках V Международного русско-грузинского фестиваля «Сны о Грузии» в Батуми прошел мастер-класс Юрия Ряшенцева «Поэзия в театре и кино».

Ведущей встречи стала поэт, драматург Елена Исаева.

Елена Исаева. Дорогие друзья! Сегодня мы встречаемся с человеком-легендой. Пусть он не смущается и не слушает меня строго, я говорю то, что думаю. Мы сейчас видели на экране фрагменты из фильмов, на которых он работал, и, конечно, у каждого из вас что-то защемило в душе, потому что вы не просто вернулись в свое детство, отрочество или юность, а вспомнили счастливые моменты жизни. Я смотрела отрывки из «Трех мушкетеров» и думала, что основой всему – прекрасные слова, и как бы ни был прекрасен Боярский, замечательны костюмы, отлично выстроены мизансцены, но если бы стихи были иными, мы и не стали бы смотреть это кино. Юрий Ряшенцев – основа нашего музыкального кино. Это замечательно, когда в массовом искусстве работает настоящий мастер, который является серьезным, большим поэтом. Именно тогда массовое искусство становится достойным и прекрасным.

Юрий Ряшенцев. Спасибо. Я не знаю, что такое мастер-класс, мне нечему вас учить, я сам с удовольствием поучился бы у каждого из вас, у Лены, например, которая сидит рядом со мной.

Е.И. Не будем нарушать субординацию.

Ю.Р. Друзья, мы поговорим сегодня о такой странной профессии, как па-ролье. Меня этому слову научил Юлий Ким, и я им теперь с удовольствием пользуюсь. Вы заметили, что стихи, которые поют с экрана замечательные актеры, очень мало похожи на мои лирические стихи. Я поэт мрачный, меланхолический, а для кино пишу то, что хочет режиссер и то, что удобно петь актерам. Профессия лирического поэта не располагает к счастливой жизни, в первую очередь, к жизни безбедной. Я не пижон и понимаю, что небожительство – вещь хорошая, но надо кормиться самому и кормить детей. По-

этому я рекомендую вам приглядеться к профессии паролье.

Чем отличаются стихи театральные от стихов нетеатральных? Прежде всего, они должны быть вняты и просты. Как бы вы здорово ни закрутили, если текст не доходит до зрителя и слушателя — именно до них, а не до читателя — ничего не получится. Паролье должен четко знать, что он хочет сказать. В этом — главное различие. Если вы лирический поэт и очень хорошо знаете, что хотите сказать в своем стихотворении, то лучше его не писать. Тогда оно превращается из сочинения в изложение. И если я знаю, что скажу в конце, я никогда не буду писать лирическое стихотворение. Поэтому так часто стихи — даже очень хорошие — не понятны читателю. Поэту стало понятно, и он поставил точку, а читателю — еще надо думать и понимать... Хотя простота и внятность текста натываются иногда на некоторые безобразия. Наши первые театральные работы с Марком Розовским были посвящены серьезным писателям — Толстому, Достоевскому, Карамзину. Я помню историю со спектаклем «История лошади» в БДТ. Розовский сделал инсценировку, я написал зонги. И вот мы, два пацана из Москвы, приехали в Ленинград. Нас называли «георгиевские мальчики», имея в виду Георгия Товстоногова. Замечательный артист Евгений Лебедев играл в спектакле Холстомера. Лебедев не хотел петь мой текст — «хочу играть Толстого в чистом виде». А у нас был зонг, который начинался со слов «хозяин мой богат и молод». Несложно, правда? Но Лебедев никогда не мог спеть эту строчку правильно. Нарочно, конечно, — демонстрируя нам, где, мол, Толстой, а где вы. Он пел «хозяин мой велик и важен», «высок и статен» и так далее. И никогда не ошибался, у него всегда было два слова по два слога, точно уложенных в строчку. В итоге он спел все возможные варианты, осталось только спеть, как надо — «хозяин мой богат и молод». Но Лебедев выкрутился. Он спел «хозяин мой богат и беден». Так что простота, кроме всего прочего, требует хороших отношений с режиссером и актером... В спектакле «История лошади» каждый из героев — Милый, Вязопуриха, Князь — пели свои куплеты. Но, кроме того, нужно было написать четыре строки — как бы обращение и от театра, и от Толстого. Это была сложная задача, и я считала, что это стало одной из моих удач. Товстоногов даже сказал, что будет читать эти строчки сам: «Мироздание! Чье же ты слово, Если нет у творца твоего Ничего беззащитней живого, Беспощадней живых никого». Он читал эти стихи в притихшем зале... А я получил, чем очень горжусь, комплимент от замечательного критика Александра Свободина, который считал, что в этих стихах больше Тютчева, чем Толстого. Но это тоже неплохо, я бы сказал. Самое важное, в этих четырех строчках нет ничего, чего бы не было у Толстого. Все правильно.

Е.И. *Я тогда еще не знала, кто такой Ряшенцев, но дуэт Вязопурихи и Холстомера пела наизусть — «Ах, как светит солнышко горячо. Положи мне голову на плечо...»*

Ю.Р. В спектакле князь, роль которого блестяще играл Олег Басилашвили, пел романс, совсем другой по фактуре:

Я пил, не зная жажды,
и пьян всего однажды.
Лишь тем нужна душа,
чья плоть нехороша.
Эх, да без Матфея, без Луки.
Пробка – словно птица.
Лягут на глазницы пятаки.
Поздно будет веселиться.
Сколько звезд в ночной реке?
Аль спасешь их всех?
Всю-то жизнь мы во грехе.
Да велик ли грех?
Христос простил Иуде.
А мы простые люди.
Неужто в судный час
не пожалеет нас?

Ничего из того, что написано Толстым, не нарушено. Хотя главная атака на нас, и на меня, в частности, велась по поводу того, что мы искажаем Толстого.

Еще одна большая работа, которую мы делали с Розовским и Кончаловским на музыку Артемьева, в итоге вылилась в оперу. Это «Преступление и наказание». Первой реакцией у людей, узнававших, что мы делаем Достоевского, было изумление: Достоевского – петь?! Как это возможно? А мне кажется, что Достоевский создан для пения. Я даже рискну вам на ухо сказать, что Достоевский создан и для рока. Я прочту вам две песни, которые поет персонаж этого спектакля, Господин из увеселительного сада – это, в общем-то, Свидригайлов. В первом произведении сперва мной был написан текст, а потом композитор написал музыку. Это романс Свидригайлова, человека, который отрицает мораль, устал от нее:

Одни фантазии в ходу.
Разврат, по крайности, природен.
В увеселительном саду
в своих движеньях всяк свободен.
Уж так замыслил нас господь,
что всякий день мы на охоте.
Ничто не остановит плоть,
хотящую отведать плоти...

По мне забавней чувства нет,
 когда она почти ребенок,
 но яд соблазна сладок, тонок,
 ей поднесен в пятнадцать лет.
 Когда ж, беспомощно греша,
 погибнет юность в час неровен,
 я удручен, но невиновен.
 Зачем она так хороша?

А второй текст был написан на готовую музыку, и он обладает таким ритмическим рисунком, в каком я бы и не написал никогда, если бы не имел готовой музыки. Это трагический момент за пять минут до смерти Свидригайлова, когда он прощает Раскольникову, и становится ясно, что сейчас он покончит с собой.

С молодых ногтей пугают нас пороком.
 И муки обещают за грехи.
 И тут, и там талдычат о высоком,
 а смертный должен ждать,
 пока взойдут из плоти лопухи.
 Но где залог, что там, за облаками,
 блаженный рай без подлого труда.
 А что, как вечность — ерунда?
 А что, когда, а что, когда
 все это вздор, все это бред,
 ни райских кущ, ни сада нет,
 а там — одна лишь банька с пауками?

Е.И. *Как вы любите больше работать — писать на готовую музыку или сперва сочинять текст?*

Ю.Р. Абсолютно все равно. Хотя в последнее время, как ни странно, я больше полюбил подтекстовывать, то есть писать на музыку. Вы знаете, это презируемая работа, и виноваты в этом подтекстовщики, которых развелось очень много. Про одного поэта, известного подтекстовщика, не хочу называть фамилии, рассказывали: подходит к нему композитор и просит написать текст на его музыку. Поэт просит напеть мелодию, потом вытаскивает из кармана текст — у него на все случаи жизни были заготовлены тексты. Подобные случаи и рождают определенное отношение к нашей профессии. На самом деле это трудная работа. Я знаю много хороших поэтов, которые мне говорили: «Черт ногу сломит, связался с композитором, ничего у меня не получается, возьми, сделай эту работу». Видимо, к подтекстовкам должна быть какая-то особенная предрасположенность.

Я хочу сказать об одном моменте, который важен и в котором не часто разбираются – это стилизация. Вот в зале сидит автор замечательных стилизаций, Юлий Ким, и многие его песни поют, как народные – «Ходят кони», «Губы окаянные»... Прием стилизации может быть очень широким. Например, популярная песня «Ланфрен-ланфра» из фильма «Гардемарины, вперед!» – стилизация под старую французскую песню. Меня, кстати, часто спрашивают, что значит «ланфрен-ланфра»? Это вокализное слово, как «рэро» или «ай-люли». Есть у меня стилизации и другого рода. Понимаете, я был мальчиком с не очень обычной биографией. Мои сестры – филологички из Ленинградского университета. Знакомство с Мандельштамом, Гумилевым. Ахматова в доме. А когда я выходил во двор нашего дома фабрики «Красная роза», я слышал «гоп со смыком» и прочие песни народов СССР. Если бы во дворе я заикнулся и сказал: «Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король», на меня бы выпучили глаза. Но все это запало в меня и, видимо, сохранилось в характере, поэтому я часто прибегаю к воровской стилизации, например, в спектакле «Гамбринус» у Марка Розовского.

Как-то я зашел к Розовскому на спектакль «Песни нашего двора», который играется во дворе, на крышах. И парень с крыши пел песню, которая показалась мне знакомой – оказалось, моя. Она была написана для спектакля Гончарова «Леди Макбет Мценского уезда». Кандальная песня:

Ой, выходит карта
да все бубновый туз
Красная, не черная,
Что за жизнь такая,
Горькая на вкус,
Ягодка моченая.
Что-сь звенит, да, чай, не полный штоф.
Не стопочка хрустальная,
А то ли от часов,
А то ли цепь кандальная...

Это использование хорошо знакомых мне блатных интонаций, которые я знал и любил с детства, чего совершенно не стыжусь, потому что это очень плодотворный слой в нашей культуре.

Обратите внимание, как в высокий жанр проникают интонации пусть не блатные, но уличные. В опере «Преступление и наказание» есть персонажи Радио Сенной площади. Понятно, что никакого радио тогда не было, но в этой опере любая новость, которая случается на Сенной, мгновенно озвучивается толпой:

Тут в переулке по соседству
 старушка деньги в рост дает.
 Она берет ужасный процент,
 ну прям сказать, как волк с овцы.
 Отдай в заклад часы, колечки,
 ой злое дело ты, нужда,
 сколь много духу в человечке,
 а вот без пищи – никуда.
 Тут в переулке по соседству
 случился грех ночной порой,
 убили старую старуху
 с ее несчастною сестрой.
 Убийца был, видать, прилежный,
 не как другие – тяп да ляп.
 Он и убил, он и ограбил,
 и никаких тебе улик.

И так далее. Это вызвало гнев не только у посетителей интернета, но и у профессиональных критиков. Писали, что Ряшенцев разучился рифмовать. Было даже замечание, очень меня порадовавшее. Дело в том, что у Достоевского есть стихи, как ни странно. Не тот знаменитый «Жил на свете таракан», а другие. Они начинаются со строчек «Ты мой будочник прекрасный, ты не бей меня напрасно». Я их дописал, а критики прошлись как раз по первым двум строчкам.

Кстати, с подтекстовкой у меня была смешная история. В 1955 году по приглашению моего друга Пети Фоменко я работал в одном спектакле. Фоменко не нравилась пьеса, и он потихоньку от автора придумал персонаж, который ходил по сцене и говорил стихами. Я должен был написать и стихи, и песни. Музыку написал Модест Табачников, прекрасный композитор, замечательный мелодист. Я приезжаю к нему домой, он сидит за роялем, очень сосредоточенный. Ставит мой текст на пюпитр, играет, и говорит со своим ярким одесским акцентом: «Ты знаешь, что ты мне написал? Так только Сема Кирсанов мог, и то потому, что он со мной из одного города». Зовет жену: «Рита, иди сюда, посмотри, что мне этот пацан написал». Играет, они оба поют, я сижу в кресле, очень довольный. Жена говорит: «Молодой человек, вы знаете, что вы написали настоящий шлягер?» Я тогда впервые услышал слово «шлягер». «Принеси этому пацану кофе», – говорит Табачников. Он продолжает играть и вдруг восклицает: «Ты что мне написал?!» Я гордо отвечаю: «Шлягер». Зовет жену: «Рита, иди сюда, посмотри, этот пацан мне написал – «я шел». Жена кричит: «Как?! Молодой человек, вы нам написали «я шел?!» Я говорю: «Что же в этом дурного?» «Молодой человек, вы не

знаете, что в Советском Союзе певиц в четыре раза больше, чем певцов? Какие же авторские мы будем получать?» Я предлагаю: «А может быть, напишем «я шла»? «Это уже лучше! Рита, принеси ему кофе! А вообще-то, молодой человек, лучше пишите «я иду»... Этот совет я запомнил на всю жизнь и повторяю всем молодым поэтам.

Была у меня история с композитором в театре у Андрея Гончарова. Я ему дал текст, через день он звонит и приглашает послушать написанное. Играет, и я с удивлением говорю: «Да это же «Ехал на ярмарку ухарь-купец». Композитор ответил немедленно: «Да! Но в миноре!»

Е.И. *А как началось ваше сотрудничество с театром? Вы же заканчивали педагогический институт?*

Ю.Р. Да, и Петя Фоменко, который также заканчивал педагогический, первым меня и пригласил. А вообще я занимался волейболом, ухаживал за девушками, и долгое время не писал ни стихов, ни подтекстовок. В 1962 году я пришел в редакцию журнала «Юность» – меня позвал Олег Чухонцев, и с тех пор профессионально работаю со стихами.

Счастливая для меня работа была связана с Грузией. Это «Веселое путешествие аргonautов», мюзикл Саши Басилая, замечательного композитора, которого, увы, больше нет с нами. Была хорошая дружба, хорошая музыка, отличные музыканты. Грузинские друзья меня постоянно разыгрывали – всюду, куда я ни входил, играли «Арго», мне уже бежать хотелось отовсюду. В этом мюзикле много прекрасных мелодий, и у меня получилось сделать некоторые вещи, которыми я горжусь. Сейчас с ходу сложно рассказать об этом, но я, например, использовал некоторые грузинские слова в русских текстах...

У меня есть несколько номеров, которые я очень люблю. Один из них – из фильма «Рецепт ее молодости» в исполнении Олега Борисова. В этом тексте удачно найден шлягворт, высказывание, которое организует весь текст – «Зато цивилизация за нас»:

Нет, хищник не ругательное слово.
 Есть в хищниках высокая корысть.
 Есть в хищниках здоровая основа,
 Желанье и обязанность загрызть!
 В нас, хищниках, счастливая натура –
 Когтям так близко все, что видит глаз.
 Быть может, против хищников культура –
 Зато цивилизация за нас!

Борисов делал это вместе с Люсей Гурченко, и делал прекрасно.

Е.И. *А вы дружили с ними?*

Ю.Р. Об общении с Гурченко можно написать трагическую повесть. При

всем своим невероятным дарованием, она в съёмочной группе выбирала себе «врага» и начинала соответственно себя вести. Она хорошо ко мне относилась, написала обо мне хорошие слова в своей книге, но в какой-то момент я не пошел у нее на поводу. Я вообще имею такую нехорошую и не-полезную привычку — отстаивать свою точку зрения. Как правило, я уступаю по мелочам, но в каких-то вещах я уступать ей не захотел. Я сразу для нее стал врагом и дураком.

Е.И. А что, она пыталась слова переделывать?

Ю.Р. Нет, она понимала, что у меня получается лучше, но тянула меня на расхожие интонации. Я не стесняюсь расхожих интонаций, но когда по-са — я категорически против. Гурченко — замечательный человек и делала совершенно уникальные вещи. Я сам удивлялся, на что я шел. Например, я написал все зонги в фильм «Рецепт ее молодости». Все было сделано, можно отдыхать. Приятный момент для автора — артисты поют, а я могу слушать и наслаждаться. Вдруг она подскакивает ко мне с горящими глазами — мы тогда были в хороших отношениях — «Ты, знаешь, что я придумала? Я буду отвечать каждому из героев не в своей музыке, а в его музыке!» Если кто видел фильм, помнит, что там есть эпизод, где она обращается в своей песне к каждому из героев. представляете, что это такое? Заново написать, перетекстовать все! Я спрашиваю: «Когда это сделать?» Она отвечает: «Сейчас!» И вдруг я, слыша себя со стороны, отвечаю: «Помощника режиссера, комнату, бумагу и карандаш». Все на меня смотрели с ужасом, но я за это взялся. Как это было? Я пишу первый куплет, помощник бежит, относит ей в рубку, она поет, записывается, я в это время пишу второй. И так далее до конца. Конечно, я был мокрый. Когда она вышла из студии, то крикнула мне: «Браво, Ряшенцев!» Честное слово, я эти слова, как орден, ношу. Потому что она-то знала толк в этом деле.

Еще один номер, который я люблю, даже не знаю, за что. «Романс Обломова». Надо сказать, что мне это очень дорого, потому что в школе учительница называла меня Илья Ильич. Я лентяй был большой. Посмотрите, расхожусь ли я с классиком:

Ты, может быть, и не Сократ.
Ты, может быть, ума палата.
А все ж с восхода по закат
Цени объятия халата.
Сюртук все делает дела,
А фрак все ищет развлечений.
Халат живет вдали от зла,
И не страшась разоблачений.
Мундир и груб, и нагловат.
Поддевка вас продаст и купит.

Один халат, один халат
 Одеждам царским не уступит.
 Ему и орден ни к чему.
 Его карманы не для денег.
 Но никогда не верь тому,
 Кто говорит: халат – бездельник.
 Халат – спаситель тех людей,
 Кто до пустейших дел нелаком.
 Он покровитель тех идей,
 Какие и не снились фракам.
 Хотел бы только одного:
 Прожить без почестей и злата,
 Не задевая никого
 Свободным рукавом халата.

Я хотел бы сказать, друзья мои, о перспективе. Лирические стихи, в общем-то, нужны вам и двум вашим товарищам. Действительно, путей существования в этом мире для стихотворца очень мало – это перевод или эстрадная песня, которую я, например, писать не умею и мне это совершенно не интересно.

Реплика из зала: *Умеете!*

Ю.Р. Нет. То, что написано для мюзиклов, сделано совершенно по другим законам. Так вот, театр и кино предоставляют некоторые возможности, подумайте об этом, и возможно, кто-то из вас найдет в себе силы и способности этим заняться.

Вопрос из зала: *Вы работали с огромным количеством композиторов. С кем вам работалось легче всего, с кем – тяжелее?*

Ю.Р. Есть одна особенность у композитора Тухманова – он не пишет музыки без стихов. Именно так была написана опера «Царица» о Екатерине Великой. Он ни запятой не изменил в моих текстах. Очень легко работаете с Лешей Артемьевым (его настоящее имя Эдуард, но друзья зовут его Алексей). Это вообще святой человек, он совершенно лишен зависти. Тяжелее всего работать с теми, кто сам пишет стихи – с Эльдаром Рязановым, например, хоть он и не композитор. Он на каждую строку предлагает по десять вариантов – и все хуже, чем написано. А режиссер – замечательный, и работать с ним интересно. Вообще, ребята, талантливые люди – это счастье.

Вопрос из зала: *Есть произведение из классики, с которым вам хотелось бы поработать?*

Ю.Р. Больше всего мне хочется, чтобы осуществилось то, что уже написано – сказочный мюзикл «Цветы для робота», сказка по Лескову, совсем новый вариант «Мизантропа», который мы перевели с Галиной Полиди... Перечислять можно долго.

В заключение я хочу прочесть вам стихотворение, которое не имеет отношения к сегодняшней теме. Эти стихи я за что-то люблю. «Лужа».

Все снега февраля в этой мартовской сгинули луже.
 Может, Ладога глубже немного, но все-таки уже.
 Что за лужа!.. За ней чуть видна там, на месте сугроба,
 Цепь огней: казино, пиццерия? Ну, словом, Европа.
 Петербург, Нижний Новгород, Миргород – так ли уж важно?
 Океанская рябь дышит вольно, загадочно, влажно...
 Подгоняем неделю, эпоху – проклятое ралли.
 Вся древлянская кровь устремилась к июню, к Ивану Купале.
 Для чего, если в каждой эпохе и в каждом пейзаже
 И все та же судьба, да и лужа вот эта все та же?
 Бросьте, та, да не та. Я нагнулся – и что в отраженье?
 Старый хрыч, для которого новость – всегда поражение.
 А ведь в прошлом году отраженье мое мне явило
 Человека, в котором была невеселая сила.
 Над бескрайней водой снова путь обозначился Млечный.
 Боль потери моей, неужели ты можешь быть вечной?
 Все не вечно у нас, кроме нашего вечного гимна.
 Я его не люблю, ибо знаю, что это взаимно.

Подготовила Нина ШАДУРИ-ЗАРДАЛИШВИЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

«ДОКАЗАНО ЖИЗНЬЮ»	5
«А ПЕСНЯ-ТО БЫЛА ВЕСЕЛАЯ...»	17
«Я, КОГО ХОТЕЛ ОБНЯТЬ, ОБНИМУ...»	39
ИВЕРСКАЯ СТОРОНА.....	65
КЛАСС МАСТЕРА	109

რუსულ-ქართული კულტურული ურთიერთობები ჭეშმარიტად ისტორიული მოვლენაა, რომელსაც ანალოგი არ აქვს.

რუსეთსა და საქართველოს ურთიერთობები სათავეს მეათე საუკუნეში იღებს – უძველეს ქრონიკებში ნახსენებია საქართველო და თბილისი. 1491 წელს დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობები. პეტრე პირველის დროს მდინარე პრესნიაზე საფუძველი ჩაეყარა ქართულ დასახლებას (თავდაპირველად – „გრუზინი“, ახლა – ბოლშაია გრუზინსკაია). XVIII საუკუნის ბოლოდან, გეორგიევსკის ტრაქტატის დადების შემდეგ, 1783 წელს ორ ქვეყანას შორის განსაკუთრებით მჭიდრო და ინტენსიური ურთიერთობები დამყარდა.

საქართველო პასუხობდა მფარველობას დახმარებითა და მხარდაჭერით – მათ შორის კულტურული და სულიერით. ბევრმა რუსეთში დევნილმა დიდმა რუსმა საქართველოში თავშესაფარი მიიღო. ისინი აქ ყოველთვის პოულობდნენ თავისუფლებას, სამსახურს და თავყვანისცემას.

სერია „რუსები საქართველოში“ – რუსული ხელოვნების, რელიგიის, მეცნიერების, ლიტერატურის, სპორტის მოღვაწეების საქართველოში ყოფნის მდიდარი ისტორიის სისტემატური გაშუქების პირველი მცდელობაა, იმ გამოჩენილი ადამიანების, რომლებიც იმსახურებენ მაღლიერ ხსოვნას შთამომავლობისაგან.

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს რუსეთის კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას, ააღორძინოს ინტერესი რუსეთის მიმართ საქართველოში და პირიქით, საზოგადოებრივი და კულტურული დიალოგის გაღრმავებას ორი მართლმადიდებელი მეზობელ ერს შორის.

Russian-Georgian cultural relations are truly a historical phenomenon that has no analogues.

Russia and Georgia are bound by eleven centuries of mutual intercourse. Starting of those relations dates back to the X century – Georgia and Tbilisi are mentioned in the ancient chronicles. In 1491 diplomatic relations were established. During Peter the Great's reign on the banks of the river Presnia was built Georgian settlement (colloquially – "Georgians", now – Bolshaya Gruzinskaya (Great Georgian). And at the end of the XVIII century, after signing of Georgievski Treaty in 1783, the relationship between two countries became particularly close and intense.

Georgia answered with help and support on this patronage. Many great Russians found shelter here – disgraced and persecuted in Russia, in Georgia they always found freedom, work and reverence.

A series "Russians in Georgia" is the first attempt of systematic coverage of the rich history of staying in Georgia outstanding Russian artists, religious leaders, scientists, writers, sportsman worthy grateful memory of descendants.

The project aims promoting the Russian cultural heritage, the revival of interest to Russia in Georgia and to Georgia in Russia, intensifying social dialogue and cultural exchange of the two Orthodox neighbor nations.

Издатель -
Международный культурно-просветительский Союз
«Русский клуб»

Руководитель проекта
НИКОЛАЙ СВЕТИЦКИЙ
заслуженный деятель искусств РФ

При финансовой поддержке: **РОССОТРУДНИЧЕСТВА**

«ГРУЗИЯ БЫЛА НАШИМ ПРАЗДНИКОМ»

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

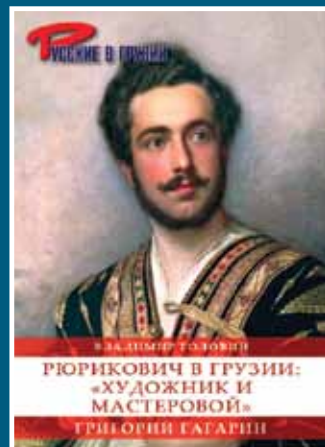
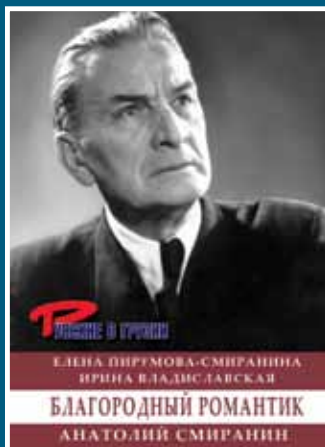
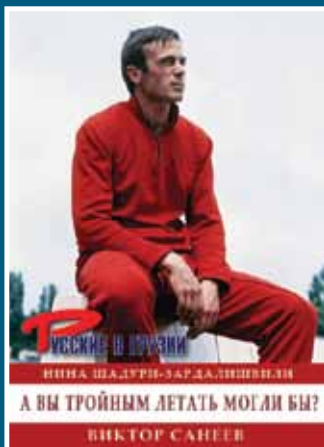
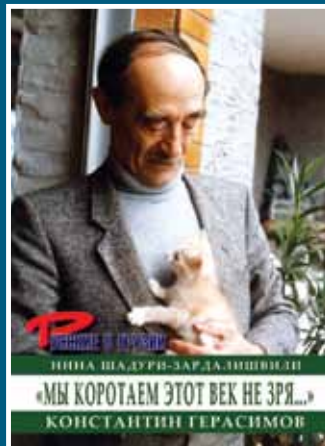
Автор-составитель
НИНА ШАДУРИ-ЗАРДАЛИШВИЛИ

Редактор
АЛЕКСАНДР СВАТИКОВ

Дизайн, компьютерное обеспечение
ДАВИД ЭЛБАКИДЗЕ-МАЧАВАРИАНИ

Над книгой работали
ЕЛЕНА ГАЛАШЕВСКАЯ
ИМЕДА СИНАТАШВИЛИ

ИЗДАНИЯ «РУССКОГО КЛУБА»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ «РУССКИЙ КЛУБ»

www.russianclub.ge rusculture@mail.ru



Юрий Ряшенцев – поэт, переводчик, прозаик, эссеист, сценарист. Родился 16 июня 1931 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет Московского педагогического института. С 1962-го до середины 1990-х гг. работал в отделе поэзии журнала «Юность» сначала в качестве литературного сотрудника, а затем – члена редколлегии. С 1973 года постоянно работает в театре и кино. Автор текстов песен к спектаклям Ленинградского БДТ «Бедная Лиза», «История лошади» и многим

другим театральным постановкам, к кинофильмам «Д'Артаньян и три мушкетера», «Забытая мелодия для флейты», «Рецепт ее молодости», «Веселая хроника опасного путешествия» («Аргонавты»), «Остров погибших кораблей», «Гардемарины, вперед!», «Простодушный», поэтических сборников «Високосный год», «Дождливый четверг», «Иверская сторона», «Прощание с империей», романа «В Маковниках. И больше нигде» и др.

В соавторстве с супругой Галиной Полиди создал русские версии мюзиклов «Метро», «Шербурские зонтики», «Пола Негри», либретто опер «Царица» Д. Тухманова, «Альберт и Жизель» А. Журбина, «Преступление и наказание» Э. Артемьева и другие произведения.

Юрий Ряшенцев – лауреат Государственной премии имени Булата Окуджавы, Международной литературной премии им. М.Ю. Лермонтова, Национальной премии «Музыкальное сердце театра» (вместе с Г. Полиди). Трехкратный победитель Всесоюзных конкурсов по стихотворному переводу.

Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб»

(МКПС) – грузинская общественная неправительственная организация. Зарегистрирована в 2003 году. Входит в Международный союз российских соотечественников (МСРС). Президент Союза – Николай Свентицкий, директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена Дружбы. На сегодняшний день членами Союза являются более пяти тысяч людей из разных стран мира – как частные персоны, так и целые организации. Главная задача «Русского клуба» – всестороннее развитие и укрепление культурных связей между Грузией и Россией как двумя независимыми государствами на основе сотрудничества, дружбы и взаимопонимания. Деятельность союза охватывает самые разные сферы жизни – литературу и искусство, образование и науку, спорт и туризм. С момента основания Союз организовал и реализовал более 350 разнообразных проектов, самый масштабный из которых – ежегодный Международный русско-грузинский поэтический фестиваль (2007-2014); за семь лет участниками фестиваля были ведущие поэты Грузии и более пятисот литераторов из почти пятидесяти стран мира. Союз является издателем общественно-художественного журнала «Русский клуб», серий «Русские в Грузии», «Литературное приложение» к журналу, «Библиотека «Русского клуба», «Детская книга».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ «РУССКИЙ КЛУБ»
www.russianclub.ge rusculture@mail.ru

